

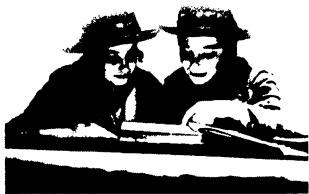
ЭЛИ ВИЗЕЛЬ РАССЫПАННЫЕ ИСКРЫ

ЭЛИ ВИЗЕЛЬ

Рассыпанные
ИСКРЫ



ГЕШАРИМ  МОСТЫ
КУЛЬТУРЫ



**ELIE
WIESEL**

Souls on Fire

Jerusalem
Gesharim
5759



Moscow
Bridges of Culture
1999

ЭЛИ
ВИЗЕЛЬ



Рассыпанные
Искры

Иерусалим
Гешарим
5759



Москва
Мосты культуры
1999

Перевод

ВИКТОР ГЛИНЕР
АЛЕКСАНДР ОКУНЬ

Редактор

РУФЬ ЗЕРНОВА

В работе над книгой принимали участие:

МИХАИЛ ВАЙСКОПФ
ЭЛИ ВАЛК
ФЕЛИКС ДЕКТОР
НАТАЛИЯ КОРПАЛ
ИСРАЭЛЬ МАЛЕР
МИРА НАДЛЕР
ЕЛЕНА РАДЧЕНКО
АНДРЕЙ РЕЗНИЦКИЙ
ИГОРЬ САРНИ
САРРА СКЛЯР
ЕЛЕНА ТОКАРСКАЯ
ВЛАДИМИР ЦАМ («ВИЛЯ»)

1-е издание (Иерусалим, 1987) было подготовлено
издательством ТАРБУТ и Книжным магазином МАЛЕР

מספר לקליטור עליה בחיפה

מספר 33041 חיפה 20 סדר

ספריה

.....3491.....

Дорогой г-н Окунь!

Как мне благодарить Вас за Ваше письмо? Оно глубоко меня тронуло.

Вы можете себе представить, конечно, почему. Я связан с русским еврейством с 1965 года; его возрождение вдохновило многих моих друзей, многих моих персонажей. Ваше письмо для меня — несравненная награда.

Разумеется, я поддерживаю вашу идею: пожалуйста, публикуйте на русском языке «Рассыпанные искры». Ничто меня так не порадует, как экземпляр этой книги, когда она выйдет из печати.

Глинер? Постараюсь сделать для него все что смогу. Это относится и к Губерману.

С самыми лучшими пожеланиями

Ваш — бевиркат ахават Исраэль:

Эли Визель

ISBN 5-93-273-002-1

Gesharim
Tel. 972-2-9931-194
Fax. 972-2-9933-189
Jerusalem, Israel

Мосты культуры
Тел. (095) 915-7178
Факс (095) 194-0806
Москва, Россия

СОДЕРЖАНИЕ

Вместо предисловия	9
ИСРАЭЛЬ БААЛ-ШЕМ-ТОВ	11
МАГГИД ИЗ МЕЖИРИЧА	53
ЛЕВИ-ИЦХАК БЕРДИЧЕВСКИЙ	85
ЭЛИМЕЛЕХ ИЗ ЛИЗЕНСКА	107
ИСРАЭЛЬ ИЗ РИЖИНА	131
НАХМАН ИЗ БРАЦЛАВА	155
ШКОЛА ПШИСХИ	185
МЕНАХЕМ-МЕНДЛ ИЗ КОЦКА	207
Пояснения к именам и терминам	235

ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ

У меня никогда ничего не крали. Но однажды мне пришлось испытать растерянность, обиду и гнев обворованного человека. Это случилось в Ленинграде, весной 1978 года. С полки одного моего приятеля из множества равно неизвестных мне английских книг я — почему? — взял эту: «Souls on Fire». И читая ее, я вдруг отчетливо понял, что все эти истории и притчи, мир мятежных цадиков и одержимых хасидов, сказочных птиц и волшебных козлов, принцев и странников — все это украли. Мое наследство похитили еще до того, как я родился, и делали все для того, чтобы я никогда о нем не узнал. И тогда мы решили вернуть то, что нам принадлежит по праву: обворован-то был не один я, наследство украли у всего моего поколения.

Я не могу назвать имен тех, кто помогал советом, кто печатал рукопись, тех, кто размножал с уже напечатанного, кто переплетал, и тех, кто передавал дальше уже незнакомым мне людям на следующую машинку. Отказники и те, кто еще только подавал документы, те, кто думал об отъезде, и те, кто не собирался ехать, — евреи, и неевреи тоже. Без них книга, которую вы держите в руках, никогда бы не появилась на свет.

И еще. Как сказал один добрый и умный человек:

«Должны мы нашим близким людям,

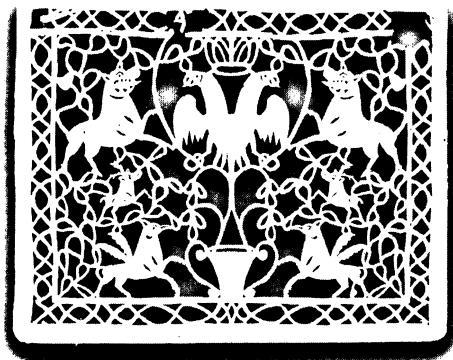
Уже за то, что любим их».

А у каждогого из нас они там есть: знакомые — и еще незнакомые.

Александр Окунь

Мой отец,
человек просвещенный,
верил в людей.
Мой дед, страстный хасид,
верил в Бога.
Один научил меня говорить, другой — петь.
Оба любили истории.
И теперь, рассказывая свою,
я слышу их голоса.
Их шепот, доносящийся из безмолвного прошлого,
связывает выжившего с теми,
от кого осталась только память.

ИСРАЭЛЬ БААЛ-ШЕМ-ТОВ





лучилось, что великий рабби Исраэль Баал-Шем-Тов, Владетель Святого Имени, известный своим могуществом на небесах так же хорошо, как и на земле, решился вновь испытать десницу Создателя.

Он не раз пытался и раньше, но безуспешно. Сгорая от нетерпения, хотел он насильно положить конец тяжкому испытанию изгнанием, и на этот раз всего лишь один шаг отделял его от успеха. Врата открылись. Мессия вот-вот должен был явиться и принести утешение детям и старцам, ожидающим его — и только его. Бесконечно долго длилось Изгнание. Ныне же люди повсюду соберутся и возрадуются!

На небесах началась сумятица. Ангелы пустились в пляс. Багровый от гнева, оскорбленный Сатана потребовал аудиенции у Господа. Простершись ниц, Сатана протестовал, взывал к обычаям, законам, истории и здравому смыслу: «Воззри на безрассудство этого человека! — восклицал он. — Как осмелился он братья за такие дела? Разве мир заслужил избавления? И наконец, разве выполнены условия, необходимые для пришествия Мессии?»

Бог выслушал и признал обоснованность доводов Сатаны: *ло ихшар дара*. Порыв рабби был признан преждев-

ременным, а его поколение — не готовым к столь великому чуду. Более того: поскольку нельзя безнаказанно нарушать порядок мироздания, Баал-Шем-Тов и его преданный ученик рабби Цви-Герш Сойфер были сосланы на далекий неведомый остров, а там сразу попали в плен к разбойникам.

Никогда еще Учитель не был таким покорным, таким безропотным.

— Учитель! — взмолился ученик. — Сделай что-нибудь, что-нибудь!

— Не могу, — сказал Баал-Шем-Тов, — силы мои иссякли.

— Где же твои тайные знания, твои несравненные дарования, твои *ихудим*? Куда они подевались?

— Я забыл их, — отвечал Учитель. — Все пропало, обратилось в прах, знания мои исчезли. Я ничего не помню.

Но увидев отчаяние Герша Сойфера, он проникся к нему жалостью: «Не падай духом, у нас еще осталась надежда. Ты ведь тоже здесь, и это может нас спасти. Ты ведь помнишь хоть что-то из того, чему я тебя научил: какую-нибудь молитву, притчу... Все сгодится».

Но, к несчастью, ученик тоже все забыл. Подобно Учителю он утратил память.

— Ты и вправду ничего не помнишь? — спросил Учитель снова. — Совсем ничего?

— Совсем, Учитель. Разве что...

— Разве что?

— Азбуку...

— Так что ж ты медлишь? — воскликнул взволнованный Учитель. — Читай! Немедленно!

Покорный, как всегда, ученик принялся медленно, с мучительным усилием произносить первые из священных букв, в совокупности хранящих в себе все таинства вселенной: «*Алеф, бет, гимел, далет...*»

И Учитель нетерпеливо повторял вслед за ним: «*Алеф, бет, гимел, далет...*»

Окончив, они принялись повторять алфавит с начала до конца. Голоса их становились сильнее и чище: «*Алеф, бет, гимел, далет...*» Пока Баал-Шем-Тов не увлекся настолько, что позабыл, кто он такой и где находится. А было

хорошо известно: когда Баал-Шем-Тов впадал в неистовство, ничто не могло ему противостоять, — это уж точно.

Отрешившись от мира, он преодолел законы времени и пространства, разорвал оковы и снял проклятие. Учитель и ученик очутились дома — в целостности и сохранности. Стали они богаче, умудреннее — и печальнее, чем когда-либо раньше.

А Мессия так и не явился.

Эта история весьма характерна, так как содержит в себе основные элементы хасидизма. Страстное ожидание, жажда избавления, блуждания по нехоженным дорогам, связь между человеком и его Создателем, между личным деянием и его отражением в небесных сферах, значимость обыденных слов, жар души, дружба, чудеса, сотворенные человеком для человека.

И тем еще характерна эта история, что она, скорее всего, выдумка.

Подобно большинству повествований о Баал-Шеме, или Беште (как его называют согласно хасидской традиции), история эта описывает события, быть может происходившие на самом деле, а быть может и нет; если же они все-таки происходили, то либо именно так, либо по-другому. Со стороны все эти рассказы непонятны; нужно войти в них, ибо их достоверность постигается только изнутри. Неважно, являются ли они добросовестным отчетом или выдумкой восхищенных современников. Повествователь излагает их в том виде, как слышал в детстве, и его детство вновь воскресает в этих рассказах.

Я слушал эти легенды в сумерках, между молитвами Минха и Маарив, в «Доме учения», наполненном колеблющимися тенями и мерцающими огоньками желтых свечей. Старики говорили о великих Учителях так, словно знали их лично. У каждого из них был свой любимый рабби и своя излюбленная легенда. И мне начинало казаться, что я бесконечно слушаю одну и ту же историю об одном и том же рабби. Менялись только имена людей и место действия. Его причины, сами поступки, отклики на них и конечные результаты обычно не варьировались: почти всегда кто-то нуждался в помощи и

неизменно находился тот, кто протягивал страждущему руку. Эти очевидные повторения смущали меня, и однажды я сказал деду: «Не понимаю. Разве такое возможно, чтобы был только один рабби?» «Да, — ответил дед, — это возможно и вполне правдоподобно. Ведь у каждого рабби только один хасид, и у каждого хасида — только один рабби. И один не может существовать без другого». «Разве это не признак слабости?» — усомнился я. «Нет, — ответил дед, — именно в этом их сила».

Что ж, как раз таким хасидом он и был. На субботу и праздники приезжал он к нам из своего местечка — праздновать вместе с нами.

Все это время я не отходил от него ни на минуту. Я сопровождал его в микву — на ритуальное омовение, на молитву, к рабби. Он пел — и я подпевал ему, он повествовал — и я трепетал от каждого слова. Он говорил: «Хасид должен уметь слушать. Слушать — значит получать. А еврей, не умеющий или не желающий получать, — это не еврей. Наш народ стал таким, каков он есть, потому что умел слушать и умел получать. И он получил Тору, не так ли? Так вот, хоть Тору нам дали всего один раз, каждый из нас должен получать ее каждый день сызнова».

При нем все присутствовавшие в «Доме учения» — Бет-Мидраш — хранили почтительное молчание. Блестящий рассказчик, он умел очаровывать слушателей. «Слушайте внимательно! — говаривал он бывало. — А главное, не забывайте, что правду надо распространять. Хранить ее для себя — значит предавать ее». Он видел, как чутко внимал я его словам, и, вероятно, чувствовал, что я их запомню. Но он, конечно, и не подозревал, что я буду столь усердно следовать его наставлениям. Он сумел ввести меня в мир Баал-Шема и его учеников, в мир, где факты склонялись перед вымыслом и красотой. Пускай события и даты не соответствовали друг другу — какое это имело значение! Мне важно было не то, что дважды два — четыре, а что Бог — един. Точнее, человек и Бог — едины.

И кажется мне, я снова слышу голос деда: «Само собой, всегда найдется умник, который заявит тебе, что с объективной точки зрения эта история не могла и не может быть правдой. Что с того? Объективный хасид — не хасид!»

Он был прав. Призыв Баал-Шема был призывом к субъективности, к пылкой самоотдаче. Истории, рассказанные им и рассказанные о нем, обращены скорее к воображению, чем к здравому смыслу. Они настойчиво стремятся доказать: любой человек значительнее, чем кажется, и способен дать больше того, чем на первый взгляд обладает.

Анализировать эти истории — значит умалять их; беспристрастно изучать — значит, оставаясь в стороне, осквернить их простодушную искренность. Беспристрастный исследователь теряет, а не приобретает.

Совсем не удивительно, что Баал-Шем оказался не в почете у историков, ведь они-то и были «посторонними». Он ускользает от них. Действительно, личность его документально почти не выявлена, а ее очертания размыты противоречиями. С уверенностью сказать о нем ничего нельзя. Те, кто знал и любил его, говорят о нем только поэтическим языком. Он научил их грезить, да так, что они и его описывают, словно во сне. Это — одна из причин, в силу которых большинство рационалистов изучают его с плохо скрытой враждебностью. Его жизнь, превратившись в легенду, ускользнула от их профессиональной хватки.

Нашлись ученые, сделавшие Баал-Шема мишенью неприкрытой враждебности, выходящей за рамки любой идеологической установки. Попросту он мешал историкам. И за то, что он их обидел, они объявили его шарлатаном, пьяницей, невежественным и алчным знахарем.

Будучи не в состоянии хоть как-нибудь разграничить миф и реальность, вымысел и факт, они пришли в замешательство, особенно потому, что предметом их изучения является человек, потрясший (в сравнительно недалеком прошлом) самые основы иудаизма, революционизировавший его идеи, понятия и самый образ жизни. Человек, который почти в одиночку раскрыл душу своего народа новому, до тех пор неведомому творчеству, человек, вступивший в единоборство с силами, равно способными низвергнуть его в пропасть, либо поднять на невиданную высоту.

Человек, наложивший отпечаток своей личности на стольких людей, уцелевших после бесконечных избиений в Центральной и Восточной Европе, духовный руководи-

тель, сделавший выживание не только обязательным, но и возможным, мастер, давший песнь отчаявшемуся народу, сумел — мы никогда не узнаем, как именно — исчезнуть, не оставив профессиональным исследователям сколько-нибудь достоверных автобиографических материалов. Он был одержим вечностью, но пренебрег историей и дал увлечь себя легенде.

Работы, приписываемые ему: «Шивхей ха-Беит», «Кетер Шем-Тов», «Цавваат ха-Риваиш» — в действительности принадлежат другим. Подлинность его апокрифических писем детям и ученикам не раз подвергалась сомнению. Не осталось от него ни портрета, ни документа, ни подписи, являющихся неопровержимыми доказательствами того, что за легендой скрывается реальный человек, личность. Возможно, это был для него еще один способ подчеркнуть свое презрение к записям. Ученику, записавшему его устное учение, Учитель сказал: «На этих страницах от меня ничего нет. Ты думаешь, будто слышал то, чего я не говорил». И добавил: «Я сказал одно, ты услышал другое, ну а записал третье». По Баал-Шему, воображение непрестанно развивается и крепнет, так что его сила превосходит, быть может, силу любого свидетельства. И реальное, и воображаемое — оба составляют историю: первое — ее скорлупа, второе — сердцевина. Не признавать этого — значит не признавать за искусством, за любой формой искусства, право на существование. Но Баал-Шем-Тов играет именно на струнах воображения, даже после своей смерти.

Каждый ученик видел его по-своему, каждому он представлялся в другом свете. Отношение к нему, проступающее из их воспоминаний, проливает больше света на них самих, нежели на него. Этим и объясняются бесчисленные противоречия в историях о Баал-Шеме.

Вот это и может беспокоить историков, но никак не хасидов. Хасидизм не боится противоречий. Хасидизм учит гордости и смирению, страху Божию и любви к Богу, святости и вместе бренности жизни, призывает верить в роль учителя как посредника между человеком и Богом и одновременно — игнорировать эту роль в личных взаимоотношениях между учеником и наставником. Отсюда вы-

текает лишь то, что человеку органически присущи противоречия.

Человеку, но не историкам. Уязвленные неуловимостью Баал-Шема, они вступают в борьбу с ним. Иные решаются попросту отрицать самое его существование. Им хотелось бы уверить нас, что он был выдуман своими же учениками. Другие, для восстановления равновесия, утверждают, что в действительности было два Баал-Шем-Това и хасидское движение основал другой.

Споры, путаница мест и дат, парадоксы — легенды о Баал-Шеме изобилуют ими. Он, обладавший талантом прояснять идеи и концепции, сделал, кажется, все возможное, чтобы запутать следы, ведущие к нему самому.

Точная дата его рождения не установлена: согласно одним источникам, 1698 год, согласно другим — 1700. Как будто это важно!

По поводу места его рождения, похоже, разногласий не существует — это местечко (возможно, крепость) под названием Окоп. Тем не менее насчет географического положения местечка имеются разногласия. Дубнов полагает, что оно находится недалеко от Каменца, Балабан переносит его на берега Днепра, а Шехтер — на Буковину. Что же касается Малера, то он вообще помещает его в Галиции. Выходит. Баал-Шем даже географию умудрился превратить в загадку.

Тайной проникнуты все упоминания о его детстве, учебе, семейной жизни, путешествиях, странствиях по горам и долинам, которые он предпринимал, чтобы прийти на помощь тем, кто нуждался в поддержке и любви.

Его родители, Элиэзер и Сара, были богаты и великодушны, утверждают одни, бедны и великодушны — утверждают другие. Сын — Исраэль — был дарован им в награду, когда супругам было под 100 лет. Они выказали себя гостеприимными и благожелательными по отношению к пророку Илие, согласно одной версии, по отношению к Сатане — согласно другой. Их сын должен был стать символом надежды и утешения, путеводной звездой для страдающего народа.

Элиэзер, отец Баал-Шема, гласит легенда, был на редкость добрым и великодушным человеком, и на небесах

решили подвергнуть его испытанию. И вот однажды, в пятницу вечером, странник в лохмотьях, с узлом на спине постучался в дверь к престарелым супругам, как раз в тот момент, когда они садились за стол, за первую субботнюю трапезу. Встретили они пришельца сердечно и ласково, и на лицах их не угадывалось ни малейшего оттенка осуждения, хотя странник преступил закон. И поскольку муж с женой не стыдили, не обижали нищего пророка, он поведал им, что в следующем году они не будут более одиноки.

Другая версия показывает нам другого Элизера — жертву, превратившуюся в героя. Похищенный варварами, он делает карьеру при дворе и, став советником государя, помогает ему вести и выигрывать войны. Король осыпает его почестями, но Элизер в тайне от всех продолжает выполнять все обязанности хорошего еврея согласно законам Торы. Король проникается к нему такой любовью, что отдает ему в жены свою дочь, однако свадьба, к величайшей досаде принцессы, не доходит до финала... Умоляя о прощении, Элизер признается ей: он еврей, к тому же и женатый. Затем Элизер осыпает принцессу комплиментами, в итоге она великодушно прощает незадачливого жениха и помогает ему покинуть королевство. Вот тогда-то в награду за верность своему народу и своей жене у него рождается сын, наделенный разнообразными дарованиями и невиданным могуществом.

Перед смертью Элизер сказал своему наследнику: «Я ухажу раньше, чем сумел сделать из тебя человека, который боится Бога и чтит людей, боящихся Бога. Запомни же одно: Бог на твоей стороне, и только Его надо бояться». Позже Баал-Шем добавит: «Бог бодрствует, Бог следит. Он пребывает в каждой жизни, в каждой вещи. Мир зависит от Его воли. Это Он решает, сколько раз листок перевернется в пыли, прежде чем ветер унесет его прочь».

Баал-Шем, осиротевший, нуждающийся, одинокий, берется за самые разные занятия: служит домашним учителем, сторожем, резником. Он был малость неуклюжим, рассеянным, чудаковатым. Община платила ему содержание и при первой подвернувшейся возможности женила его совсем еще молодым. Вскоре после свадьбы жена умерла, и

он вернулся к прежнему замкнутому, интроспективному существованию. Он ждал знаменья.

Существует бесконечное множество легенд о жизни, которую он вел до того, как на него снизошло озарение. Говорят, он спасал детей от оборотней и колдунов, мог передвигать горы. Блуждая по лесам, он грезил наяву, и песнь мира звучала и пребывала в Боге.

Одни изображают Баал-Шема святым отшельником, другие — безвредным тупицей, тогда как третьи наделяют его ученостью и мудростью в количестве, потребном разве что для даяна — судьи раввината и вершителя судеб общины. Неясно, кроме того, как он познакомился с рабби Авраамом (Эфраимом?) Кутивером, который искал подходящего жениха для своей дочери Ханы. Сколько лет ей было в то время? Всего несколько месяцев, согласно одним источникам; значительно больше, поскольку она была уже разведена — согласно другим. Не это главное. Важно, что брачный контракт был подписан, и там, где следовало указать имя жениха, стояло: Исраэль, сын Элизера (без упоминания каких-либо титулов). Вскоре отец Ханы умер.

Прошли годы, и однажды «жених», одетый в крестьянскую одежду, явился в Броды, чтобы повидать рабби Гершона Кутивера. Рабби Гершон, брат Ханы, принял незнакомца за нищего и вознамерился наделить его милостыней. «Э, нет, — сказал посетитель. — Я не за этим. Мне надо кое о чем с вами потолковать». И буркнул: «Я хочу свою жену, отдайте мне жену!»

Трудно было рабби Гершону, одному из именитых горожан, с этим смириться. Даже после предъявления брачного контракта, подписанного его отцом, он все еще отговаривал сестру выходить замуж за неуклюжего тупого крестьянина. Однако Хана предпочла исполнить последнюю волю отца, и день свадьбы был назначен. Перед началом церемонии Баал-Шем отвел Хану в сторону и тихо ей сказал: «Хана, я не тот, за кого ты меня принимаешь, но только этого ты никому не должна говорить». И он рассказал ей об избранном им пути, описал трудности, с которыми им предстоит столкнуться, препятствия, которые придется преодолевать. И Хана ответила, что готова вместе с ним переносить все тяготы и все невзгоды.

А затем потянулись долгие безотрадные дни. Рабби Гершон стыдился своего нового родственника и потому уговорил молодоженов уехать как можно дальше. Он купил им постоялый двор с корчмой, лошадь и телегу. И жили Израэль и Хана в нищете, далеко-далеко, в Карпатских горах. Копали они землю и торговали известью по деревням, влача жалкое, полуголодное существование.

Однажды вызвал его к себе местный раввин и пожелал преподать ему урок Торы. Баал-Шем слушал, и лицо его менялось с непостижимой быстротой: простак, мудрец, опять простак... Раввин был ошеломлен: неужели выражение лица может преобразаться столь стремительно? Он упросил открыть ему правду. «Да будет так, — отвечивал Баал-Шем, — но то, что я скажу, держи пока при себе».

Жила еще в Бродях одна сумасшедшая, и видела она людей, как говорят, насквозь. Встретив однажды Баал-Шема, она сказала: «Я знаю, кто ты такой, но не боюсь тебя. Знаю, что обладаешь необычайной властью, но ведомо мне и то, что воспользоваться ею до 36 лет ты не сможешь!» «Уймись, — ответил Баал-Шем, — не то я соберу суд, чтоб изгнать из тебя демона».

Перепуганная старуха прикусила язык — но правда осталась при ней. Другие узнали истину много позже.

Семь лет прошло в тяготах и одиночестве, прежде чем Баал-Шем получил повеление открыться и принять свою судьбу.

Случилось, что в ту самую субботу ученик рабби Гершона прервал свою поездку, дабы провести этот день с Израэлем и Ханой. В полночь он проснулся, дрожа от ужаса: огромное пламя вырывалось из очага. Необходимо предотвратить пожар. Он бросился гасить огонь и ...увидел спокойно стоящего в пламени хозяина дома.

Очнувшись от беспамятства, ученик услышал, как Баал-Шем бранит его: «Не суйся, куда не следует!»

Едва дождавшись окончания субботы, помчался путешественник назад в Броды и ворвался в *Бет-Мидраш*, выкрикивая великие известия: «Рядом, совсем рядом, новый источник света!»

Люди поспешили на опушку леса и построили там трон из веток и листьев. Бешт занял свое место.

— Я открою новый путь, — провозгласил он.

И было ему 36 лет.

Сумасшедшая оказалась права. Она первой все угадала. И странное дело: лучше любого ученика, любого самого благочестивого человека в городе могла она изъясняться на языке молодого праведника из леса.

Да мало ли странного в этом мире? Разве не странно, например, что Баал-Шем совершил паломничество в Землю Обетованную? Что подвигло его на это? Неосознанное влечение? Или хорошо продуманный план? Одна легенда гласит, что разбойники, где-то в Карпатах, открыли ему тайну подземного хода, ведущего прямо в Иерусалим. Другая утверждает, что он побывал в Святой Земле по пути в Стамбул, сопровождаемый своим учеником Цви-Гершем Сойфером или (другой вариант) своей дочерью Адилью. Согласно третьей, вовсе туманной версии, он путешествовал с ними обоими и вдобавок совершил путешествие... дважды. Наконец четвертая версия гласит, что затея его не удалась и он вообще никуда не ездил.

Еще более загадочный вопрос, действительно ли он участвовал в публичных дебатах с последователями Якова Франка в Лемберге? Занимался ли он исцелением больных, изготавливал ли амулеты, чтобы влиять на судьбу и изгонять демонов? Мнения разделяются. Даже дата его смерти, и та оспаривается. Одни говорят, что он умер в первый день *Шавуот*, другие — во второй.

Учтите, вся эта путаница относится к человеку, жившему не в средние века, а в XVIII столетии.

А ведь этот современник Вольтера и Канта, Лессинга и Дидро создал свою империю не где-нибудь в далекой отсталой Африке, но в самом сердце Европы, той самой Европы, где человек, возжаждав просвещения, начал подгонять историю под свой, человеческий масштаб. Люди стремились учиться, путешествовать, исследовать, экспериментировать. Слово повсюду становилось орудием бунта, вызовом, возвещающим о революционных переменах. Разбивая с помощью слова идолы и алтари, люди непременно хотели, чтобы весь мир узнал об их деяниях. И потому политики и филантропы, авантюристы и проповедники, мечтатели и завоеватели — все они оставили след

если не в истории, то в хрониках своего времени, все — кроме Баал-Шема.

А от него не осталось ничего, кроме легенды, которая, со временем, как это ни странно, обретала все большую силу. Бешт пребывает с человеком и в радости, и в горе. В этом смысле ни одна из фигур еврейской истории, за исключением пророка Илии, не может с ним сравниться. Каждый *штибл* отражает его свет, его тепло. У каждого хасида было два учителя: его собственный и Баал-Шем — и один черпал силу в другом. Первый нужен был человеку, чтобы жить, второй — чтобы верить. Тот, кто отрекался от родства с Баал-Шемом, оказывался вне главного потока жизни хасидского общества. И, кто знает почему, самые прекрасные, самые притягательные легенды — те, где Баал-Шем — центральное или же одно из главных действующих лиц.

Вероятно, сам он является какой-то совокупностью, итогом историй, рассказанных и рассказываемых о нем и его деяниях... Точнее: легенда о нем — это и есть он сам.

Тем не менее сын Сары и Элизера отнюдь не считался первым баал-шемом. Были до него другие Владетели Имени: Йоэль Баал-Шем, Элиягу Баал-Шем, Биньямии Баал-Шем. Все они были странствующими чудотворцами. Они пересекали реки и леса, посещали деревушки и города, добраясь даже до таких отдаленных мест, как Вормс и Лондон. Наконец, существовал таинственный Адам Баал-Шем, считающийся предтечей хасидизма. Ходят слухи, что он поручил сыну свои эзотерические писания для передачи их Баал-Шем-Тову. Независимо от того, кем считать этих людей — святыми или знахарями, — надо признать, что они более или менее справлялись со своим делом: к ним обращались, чтобы изгнать бесов, заклясть дьявола, исцелить женщину от бесплодия. Чтобы отличить Исраэля Баал-Шема от других, к его имени добавили слово «Тов». Таким образом он стал Владетелем Святого Имени, а все остальные отошли на второй план, если вообще не были забыты. Остался он один, на недостижимой для других высоте.

Не был Баал-Шем и первым хасидом. Не забираясь в исторические дали и не разбирая такие явления, как хасидизм Талмуда или XII века, сошлемся лишь на существование в период, непосредственно предшествующий появле-

нию Баал-Шема, своего рода хасидских братств в Бродах, Баре, Кутах и Меджибоже. Они объединяли каббалистов и знаменитых ученых, среди которых были Гершон Кутивер, Нахман из Городенки, Нахман из Косова, Вулф Кицез, Ицхак Дрогобычский, Шабтай Рашковер. Кружки эти были весьма замкнуты — их участники желали оставаться избранным обществом. Чтобы отбить у возможных претендентов стремление проникнуть в элиту, они ввели правила приема, требующие от каждого кандидата не только превосходного знания Талмуда и каббалы, но и обязательства строго придерживаться практики аскетизма и «воздержания от пророчеств». Говорят, будто сам Бешт пытался стать одним из них, однако знания его были сочтены недостаточными, и он получил отказ. Итак, хасиды имелись и до Бешта, но хасидизм в его нынешнем значении создан (или воссоздан) именно им. Он дал существующему термину новое содержание и форму.

Это оказалось нелегкой задачей. Прежде чем сплотиться вокруг Баал-Шема, многие из первых хасидов были его злейшими противниками, они упрекали его в том, что врата распахнуты чересчур широко. Но в конце концов все, за несколькими исключениями, покорилось, опасаясь широких масс, его влиянию, и маленькие хасидские братства поглотило новое движение. Рабби Нахман из Косова был одним из таких исключений: он отказывался даже познакомиться с Баал-Шемом. Лишь после долгих и настойчивых уговоров своих учеников он согласился встретиться с ним лицом к лицу. Начал он с вызова:

— Говорят, ты можешь читать мысли?

— Да, — ответил Баал-Шем.

— Что ж, докажи. Скажи, о чем я сейчас думаю?

— О Боге, конечно, — сказал Баал-Шем, ничем не рискуя, ибо Бог должен присутствовать в каждой мысли каждого верующего еврея.

— Слишком просто, — справедливо возразил гость.

— Верно, — согласился Баал-Шем. — Это просто, поскольку все люди, в сущности, думают о Боге. Но все — по-разному. Хочешь, я расскажу, как это делаешь ты?

Рассказал он или нет — никто не знает. Правда, рабби Нахман не стал хасидом, однако с тех пор он не позволял

критиковать Баал-Шема в своем присутствии. Он говорил: «Этот спор касается только нас двоих. Начался он давно. Это — спор между Давидом и Саулом, Гилелем и Шаммаем. И вам я запрещаю в него ввязываться».

Больше повезло Баал-Шему с другими духовными руководителями — Пинхасом из Кореца, Яковом-Йосефом из Полонного, Дов-Бером из Межирича. Первого он победил взглядом, второго — притчами, третьего — своим жаром.

Чтобы увеличить число своих последователей, Баал-Шем не жалел ни времени, ни сил. Он всегда находился в пути, неожиданно появляясь то здесь, то там, в лесах, на рынках, обращаясь к странникам, к богатым и бедным, к эрудитам и простым людям, всех превращая в своих приверженцев. А если к кому-то Баал-Шем относился с особой заинтересованностью, он не знал отдыха до тех пор, пока не встречался с ним и, если удавалось, вовлекал его в круг своих самых близких сторонников. Однажды, дабы порадовать Нахмана из Косова, он пустился в долгий и опасный путь, доказав тем самым, сколь малое значение придавал он расстояниям, если своим появлением мог доставить радость другу. Не раз проводил он в пути и дни и ночи только для того, чтобы встретить субботу с Яковом-Йосефом из Полонного.

С теми, кого он любил и чтил, Баал-Шем — воплощенное благородство: внимательный, добрый, заботливый. Узнав, что один из его учеников предается неумеренному умерщвлению плоти, он нашел время написать ему длинное письмо, умоляя пощадить свое здоровье, даже дал ему несколько практических советов — что и когда есть и пить.

Однако в отношении ортодоксальных раввинов Бешт был крайне суров: «Когда-нибудь их разведется столько, что Мессии некуда будет ступить!» Не жаловал он и врачей: «Они желают объяснить все, а сами в недугах человеческих только то и замечают, что само в глаза бросается». Учеников своих, людей большей частью простых и преданных, он любил, как отец или старший брат, обстоятельно вникая в дела каждого. И каждый ученик был уверен, что Баал-Шем встречается только с ним и только с ним и делится. Но однажды, гласит легенда, ученики поняли: все

они равны в глазах Учителя. «И пребывали они в весьма долгом молчании...»

При этом, сосредоточив внимание на своих приверженцах, Баал-Шем старался не оставить в стороне и тех, кто не входил в его ближайшее окружение.

Его частые путешествия (он посетил более 50 городов и местечек), упомянутые в «*Шивхей ха-Бешт*», предпринимались, в первую очередь, для вербовки последователей (апостолов, собственно говоря), которые могли бы стать потом руководителями общин. Он раздавал себя щедро, без остатка тем, кто нуждался в нем, не задумываясь о том, что многие из этих людей не могут ему пригодиться: всякий человек заслуживал его внимания. Баал-Шем попросту появлялся там, где сам он — или кто-то вроде него — был в данную минуту необходим. Там, где почти отчаявшийся, одинокий человек нуждался в добром слове, в утешении — появлялся Бешт.

Излучая необыкновенную духовную силу, он преобразовывал любого, приблизившегося к нему. Самые заурядные люди отзывались на его слово, и встреча с ним становилась главным событием их жизни. Стоило Бешту остановиться на тебе взгляд — и тебе передавался его пыл. Старик крестьянин укрыл его от стужи — и, разбогатевав, прожил до ста лет. Ребенок с жаром рассказал ему урок — что ж, он прославится. На свою беду вор повстречал Баал-Шема — и тот разоблачил его. Повернувшись к Учителю, он укоризненно произнес: «Если уж ты умеешь видеть, то почему не стараешься видеть одно хорошее?»

Итак, даже вор попадает в очарованный сад хасидской легенды.

Я до сих пор слышу, как дед говорит мне: «В мире Бешта никто не чувствовал себя обойденным». Это относится и к его ученикам: для хасидов нет чужого, нет постороннего, для рабби не существует нежеланного хасида. Хасид, даже переставший исполнять необходимые предписания, все-таки остается хасидом и в конце концов будет спасен. Он будет спасен своими товарищами, чувствующими ответственность за его судьбу. Хасидизм Бешта исполнен солидарности.

В отличие от рабби последующих поколений, Баал-Шем не имел постоянной резиденции, не содержал двора, не прибегал к услугам секретаря, дабы тот служил щитом между ним и посетителями. Он хотел оставаться доступным для каждого, кто придет поделиться своими бедами, своими страданиями. И он не просто принимал их, он встречал их на полдороге. Будучи вечно в движении, он не давал себе ни малейшей передышки и старался успеть повсюду, путешествуя то с кучером Алексеем, то с Цви-Гершем Сойфером. Он жаждал положить конец всем ожиданиям, воплотить все чаяния. И если верить легенде, достигал цели. Он принадлежал всем.

Он обращался к мужчинам и женщинам (говорят, к женщинам чаще) в синагогах и на улицах, на ярмарках и в корчмах, в любое время дня и ночи. Чем больше людей встречал он, тем лучше! Не было ни слишком отдаленных мест, ни нестоящих людей. «До тех пор, пока ветвь не отсечена от дерева, надежда оправдана», — говаривал он. И добавлял: «Чтобы вытащить из грязи себе подобного, нужно самому ступить в грязь». По-видимому, он же сказал: «Мелкие цадики любят мелких грешников, великий цадик любит великого грешника». Неудивительно, что, согласно народному преданию, он пытался прийти на помощь проклятым душам Саббатая Цви и Якова Франка. Не судить других — это один из принципов Баал-Шема: не осуждать, а помогать было его назначением.

Совершенно беззаботно вращался он в довольно сомнительных, чтобы не сказать хуже, кругах: здесь, полагал Баал-Шем, он был нужнее, чем среди праведников. Разбойники искали его, дабы он рассудил их, воры испрашивали его благословения, и пьяницы избирали его своим исповедником. Умение слушать других он считал искусством и добродетелью.

Однажды увидел он пьяного, который заплетающимся языком пел печальную песню. Долго и внимательно слушал Баал-Шем, а потом заметил: «Когда человек исповедуется, путь, избранный им для этого, не имеет ровным счетом никакого значения. Не стоит от него отворачиваться».

Он любил заглядывать в корчму, где мужики и охальники пили и горланили песни. Однажды привел он туда

молоденького еврея-ешиботника: «Вы знаете, он поет лучше вас». Через минуту все плясали под новый напев. Прошли годы. Шайка разбойников поймала на дороге еврея и уже готовилась отправить его на тот свет, как вдруг главарь, уставившись на бедолагу, спросил: «Ты умеешь петь?» — «Да» — «Пой!» И сразу же вспомнил еврей давнишний вечер и узнал бандита. Он спел и — спасся.

Вполне естественно, что о Баал-Шеме много говорили. Люди славили его могущество и повторяли его изречения. Еврейство бурлило, следя за его поразительным восхождением то со страхом, то с надеждой, а то и с обоими этими чувствами вперемешку. Никто не оставался безучастным: одни были за, другие — против этого необыкновенного человека. Казалось, он пребывает одновременно повсюду и его появление, подобно движению кометы, отбрасывало за собой хвост изумления или гнева. Брожение началось и среди ортодоксальных раввинов и среди рационалистов-эмансипаторов. Первые считали его чрезмерно революционным, вторые — чересчур ортодоксальным, и все старались быстро и действенно с ним управиться, пока не поздно — но уже было поздно. Легенда Баал-Шема зажгла воображение евреев с такой силой, что никто не мог остановить или хотя бы затормозить ее шествие. Он явился ответом на общую потребность.

XVIII столетие было не слишком ласково к евреям, жившим в наименее благоустроенных районах Центральной и Восточной Европы. Их не затронуло великое освободительное движение. Борьба против деспотизма и социальной несправедливости не ставила своей целью облегчение их страданий. Евреи (особенно евреи Польши и Украины) были предоставлены самим себе.

В обстановке полнейшего беспорядка им приходилось покупать покровительство. Свобода и жизнь зависели от каприза местных помещиков, эксплуатирующих их коммерческие таланты. Если корчмарь или управляющий в конце недели являлся с тощим кошельком, его жестоко избивали и сажали в тюрьму. И некому было взять его на поруки. Так обстояло дело в местечках и деревушках, но никому не приходилось горше, чем еврею, жившему на

отдаленном хуторе. Он чувствовал себя забытым, покинутым своими братьями.

В больших общинах возникали другие заботы. Барьеры стояли между учеными и неучеными, богатыми и бедными, духовными вождями и ремесленниками, между именитыми горожанами и простонародьем. Различные группировки взирали друг на друга с недоверием, злобой и обидой.

На верхушке социальной лестницы располагались светские руководители (люди, как правило, зажиточные, если не богатые), назначенные ими раввины, талмудисты, учителя. Тех, кто не обладал ни званиями, ни состоянием, — игнорировали. Те же, кто не блистал ни ученостью, ни благосостоянием, принадлежали к угнетенному классу, обреченному на полную беспомощность.

В духовном плане иудаизм переживал не менее серьезный кризис: существующие раввинские институты окостенели и стали слишком замкнутыми. Они запрещали любые отклонения, не допускали никаких индивидуальных усилий. Травмированные кошмаром лжемессий XVII века, раввины с подозрением смотрели на все новое, на все неизвестное. Того, кто отходил от строго традиционной интерпретации Закона или обещал слишком много, — немедленно обвиняли в ереси. Они считали, что иудаизм достаточно натерпелся от вдохновенных мистиков и демагогов. И чтобы сохранить традицию, ее окружили различными препятствиями. Тот, кто пытался их опрокинуть, подставлял себя непостижимо суровым репрессиям.

Еврей (у которого нет ничего, кроме памяти) помнит, как его мечты были разбужены и потом растоптаны Саббатом Цви и его учениками. Он знает, что в изгнании надежда может превратиться в самую мучительную пытку, в самую страшную опасность. Чтобы остаться непоколебимым, нужно уметь ждать, уметь быть терпеливым. Чтобы остаться в живых, надо согнуться и покорно брести по узкой, зато привычной тропинке, отвергая зов неизведанного.

Но человек не может жить без мечты, без легенды. Вот почему правителем становится тот, кто несет ему и то и другое.

Однако, говорят, сам Баал-Шем не придавал славе никакого значения. В ночь, когда его посетило видение и он

узнал, что пришло время покинуть горы, сбросить маску и принять свою судьбу — судьбу пастыря Израилева, сердце его чуть не разорвалось. Три дня и три ночи провел он в посте и страданиях, молясь об отмене повеления. Было ему тридцать шесть лет.

Однажды послал он своих учеников в далекую деревню навестить ламед-вавника, одного из тех тридцати шести праведников, без которых мир не уцелел бы. Баал-Шем сказал ученикам: «Человек этот похож на меня, как брат: мы одних лет, одного происхождения, у нас равные знания и одинаковые достоинства. Прежде чем опуститься с небес на землю, мы договорились при первой же возможности выполнить заповедь *кибуд Эм* — чтить мать свою. А способ мы выбрали вот какой: чтобы не беспокоить своих матерей, решили не плакать. И мы сдержали слово. В присутствии матери я не проронил ни слезинки, но стоило ей уйти на рынок или в синагогу, я не мог удержаться от слез. Когда соседи упрекнули ее в бесчувственности, она никак не могла понять, в чем дело, и очень страдала от этого. Мой же друг следил за собой даже в отсутствие матери. Вот почему наверху решено было, что другу моему в награду позволено будет остаться скрытым праведником, в то время как я был осужден на славу».

Почитатели защищали Баал-Шема от него самого. За всем известным Баал-Шемом, говорили они, скрыт Баал-Шем столь же великий, сколь непостижимый. Они, не колеблясь, ставили его в один ряд с Моисеем. По их словам, все, имеющее к нему отношение, исполнено святости: его учителем был пророк Ахия из Шило — тот самый, который учил Давида; рабби Ицхак Лурия и Шимон бар Йохай — наиболее почитаемые столпы каббалы — были ему ровня; и, наконец, не раз случалось ему беседовать с Мессией.

В письме к своему шурину рабби Гершону Кутиверу Баал-Шем поведал об одной из таких бесед. На вопрос: «Когда же наконец Ты придешь?», Мессия ответил: «Когда источник твой переполнится и учение твое покроет всю землю». Баал-Шем толковал даже с Ангелом Смерти — спросил его: «Почему ты уничтожаешь столько невинных и беспомощных евреев?» «Я делаю это ради Неба, ради

любви к Господу и ради Его славы», — ответил Ангел со зловещей иронией.

Согласно легенде, Баал-Шем заслужил это право благодаря «корням души», то есть заслугам своих предков во всех поколениях. Похоже, однако, при всем том он избрал маску человека, который не может рассчитывать на наследственные дары, но должен тяжко трудиться ради каждой победы. Своим обаянием он был обязан только себе. Это одно из привлекательных положений хасидизма: все дано и тем не менее все приходится делать самому. Хотя силы дает Бог, человек должен суметь взять их у Него.

Баал-Шем был человеком из народа в полном смысле слова. Он не мог похвастаться известными предками, не занимал высокого положения в обществе, одним словом, ничто не связывало его с правящими кругами. У него не было ни официальных званий, ни влиятельных друзей, ни могущественных покровителей. Не было у него ни собственности, ни богатых поклонников. Он не мог даже претендовать на обширное знание Талмуда. Напротив, он любил прикидываться безграмотным невеждой, который неохотно и вымученно бормочет несколько основных молитв.

Это частично объясняет его неизменный успех у неудачников — они отождествляли себя с ним. Если бы он был сыном раввина или илуем — сверходаренным человеком, он бы меньше тревожил воображение людей. Скромное происхождение Баал-Шема облегчало беднякам контакт с ним. Собственно, он являлся их сублимированным воплощением. Он говорил им то, что они хотели услышать: Бог помнит о каждом из них, каждый по-своему, в меру своих возможностей, влияет на судьбу своего народа.

Он уверял их, что простая, но искренняя молитва стоит мистического заклинания и что жар чистого сердца ценнее жара, рожденного сложной и глубокой мыслью. Он сказал: «Извозчик, целующий святые свитки Торы, милее Богу, нежели ангелы, поющие Ему хвалу и ничем другим не занимающиеся». Он призывал не доверять людям, претендующим на всеведение. «Вам хочется понять, истинный ли рабби этот раввин. Пойдите и попросите совета. Спросите, знает ли он, как прогнать дурные мысли? И если скажет

«да» — знайте, что он самозванец». Он говорил им, что гордость, проистекающая от знания, хуже невежества; что лучше искать, чем находить. Величие человека, учил он, заключается в способности к смирению. Пусть он начнет со смирения перед Господом: тогда он возвеличится и станет свободным. Иногда, объяснял он, достаточно просто верить в существование тайны; немного нужно человеку, чтобы состояться и возвыситься, если к этому он в самом деле стремится всем сердцем.

Баал-Шем учил радостью побеждать печаль: «Человек, который смотрит только на себя, не может не впасть в отчаяние, но как только поднимет глаза на окружающий его мир, радость откроется ему». И эта радость ведет к абсолюту, к избавлению, к Богу. Вот какой была новая правда по определению Баал-Шема. И тысячи евреев с готовностью откликнулись на этот призыв, ибо нуждались в нем, чтобы жить и выжить. И тогда вслед за болью явилась радость, и она сплотила разобщенных и изгнанных. Радость человека, избавленного от одиночества, радость старого мудреца, ожидающего сдвига времени, радость отца, жаждущего рассказать, и детей, горящих желанием услышать. Баал-Шем был мгновением восторга и экзальтации в беспросветные времена немых сетований. Когда он умер, в 1760 году, спустя 24 года после начала своей деятельности, в Центральной и Восточной Европе не осталось ни одного незатронутого им местечка. Он стал искрой, без которой тысячи семей поглотила бы пучина уныния и безнадежности. И искра эта разгорелась в огромное пламя, разорвавшее крошечную тьму.

Однажды Баал-Шем пообещал ученикам показать пророка Илию. «Только всмотритесь внимательно», — предупредил он.

Через несколько дней они увидели, что в *Бет-Мидраш* вошел нищий и потом вышел с книгой под мышкой. В другой раз они увидели, как нищий уносил с собой серебряную ложку. В третий раз он явился им в образе солдата-всадника, попросившего огонька для трубки. «Это был он, — сказал Баал-Шем, — тайна — в глазах».

Его ученик рабби Давид Лейкес рассказывает: «После окончания последней субботней трапезы Учитель обернулся ко мне и попросил монету, чтобы купить вина. Конечно, денег у меня не было, но как мог я ослушаться? Я полез в карман и, вынув оттуда монету, ничуть не удивился».

Во сне Баал-Шем увидел своего будущего соседа по Раю. Проснувшись, он решил нанести ему визит и, явившись, увидел перед собой здорового, дородного и вполне земного человека. «Как замечательно скрывает он свою сущность», — подумал Баал-Шем и попросил приютить его на несколько дней.

Бешт был убежден, что хозяин его живет двойной жизнью: наверно, встает по ночам для совершения — одному Богу известно каких — достойных деяний. Не тут-то было. До самого утра спал хозяин мертвецким сном, затем вставал, торопливо бормотал молитву и сытно завтракал. В обед он ел еще больше, а за ужином — в три раза больше, чем за обедом. Так продолжалось несколько дней.

«Дождись субботы, — решил Баал-Шем, — может, именно тогда проявится его святость». Опять задача: хозяин спал и ел больше, чем в течение всей недели. Не вытерпел Баал-Шем и обратился к нему:

— Поначалу я хотел задать тебе один вопрос, но теперь у меня появился другой: объясни мне, почему ты так много ешь?

— Что ж, я тебе скажу, — отвечал человек, — видишь ли, тут дело в моем отце. Он был хорошим евреем, добросердечным человеком, стремившимся угодить Господу. Его не занимали ни деньги, ни почести, ни даже собственное здоровье. Он жил только Торой и только для Торы. Однажды по пути в синагогу его схватили разбойники; они привязали его к дереву и велели лобызать крест. Конечно же, он отказался. Они безжалостно били его — все равно он отказывался. Тогда разбойники сожгли его на костре. А поскольку был он худым и слабым, то и горел совсем недолго: вспыхнул — и тут же сгорел. И я — свидетель этой истории, я поклялся: если когда-нибудь придет мой черед, они так просто от меня не отделаются. Я покажу им, что еврей — это не жалкая свечка. Нет! Я буду гореть так долго,

что они полопаются от злости! Вот почему я столько ем. Всю свою энергию, все свои желания я вкладываю в еду — и вовсе не потому, что я голоден.

— Да, понимаю, — улыбнувшись, ответил Баал-Шем. — Иди, продолжай. То, что ты делаешь, ты делаешь хорошо. И помолчав, добавил: — Мы еще поговорим об этом.

Однажды утром он вместе с учениками проходил по пустынному, безлюдному месту.

— Мне очень хочется пить, — пожаловался один юноша. — Я сгораю, я просто умираю от жажды.

Вокруг ни малейшего признака воды. Настоящая пустыня.

— Не беспокойся, — сказал Баал-Шем, — когда Бог создавал землю, Он предвидел твою жажду и предусмотрел средство утолить ее.

Вскоре они наткнулись на крестьянина, который тащил два ведра с водой.

— Мой хозяин совсем рехнулся, — проворчал мужик. — Что ни день — новые затеи. Вот сегодня послал меня ни с того ни с сего таскаться взад-вперед с коромыслом.

— Видишь, — сказал Баал-Шем ученику, — создавая мир, Он подготовил и это безумие — единственно для того, чтобы ты мог утолить жажду.

Это случилось в осенние праздники. В синагоге Баал-Шем провел всю службу с особым рвением и особенно сосредоточился на молитвах, связанных с избавлением. Покинув синагогу, ученики, движимые общим порывом, поспешили в убежище, расположенное на опушке леса, чтобы вместе ждать Мессию. Самый младший из них остался дома. И вдруг его осенила ужасная догадка: Мессия вот-вот явится, и не найдется ни одного человека, чтобы встретить его!

Со всех ног помчался он предупредить товарищей. Задыхаясь, рывком распахнул дверь и увидел их, сидящих вокруг стола в торжественном молчании. Он понял: они тоже убеждены, что долгожданный Спаситель — в пути и скоро они услышат стук посоха, возвещающий Его прибытие.

Ожидание затянулось далеко за полночь. Подавленные, они вернулись в город. Говорят, не прерви юноша их молчаливого бдения, тот, кого они ждали, мог бы появиться.

«Представьте себе дворец с несчетным количеством дверей, — сказал Баал-Шем своим ученикам. — Перед каждой посетитель находит сокровище. Удовлетворившись, он не испытывает нужды продолжать поиски. А в это время за дверьми в конце галереи царь ждет тех своих подданных, которые думают о нем больше, чем о своих сокровищах».

Однажды утром он молился дольше обычного. Утомленные ученики ушли. Позднее учитель с грустью заметил: «Вообразите, что на верхушке дерева сидит редкостная птица. Стараясь добраться до нее, люди влезают друг другу на плечи, чтобы один из них мог вскарабкаться по этой живой лестнице на самый верх. Но те, кто стоит внизу, уже не в состоянии разглядеть птицу и поэтому, потеряв терпение, идут домой. Лестница рушится, и дивная птица улетает».

В *Симхат-Тора* Баал-Шем предупредил своих последователей, чтобы вечером в синагоге они ничему не удивлялись: «Обещайте мне не смеяться».

Они обещали.

И вот в синагоге Учитель призвал Семь Пастырей Мира, включая Адама, Авраама и Давида, взойти на возвышение (*бима*) и почитать Тору. Под конец он пригласил Мессию. Некоторым ученикам это показалось чрезмерной дерзостью, и они засмеялись. Тень омрачила лицо Учителя, и, казалось, целую вечность он отказывался взглянуть на них.

«Хотите знать, что представляет собой хасидизм? Знаете ли вы историю о том, как кузнец решил завести собственное дело? Он купил наковальню, молот, меха и принялся было за работу. Ничего не выходило — горн не разгорался. Тогда он пошел за советом к старому кузнецу. Тот выслушал его и сказал: «Да, у тебя есть все, что нужно для работы, все, кроме искры». Искра — это и есть хасидизм».

Чем сначала был хасидизм? Человеком. Баал-Шемом. Из его уст исходил мощный призыв к утешению, к единству. Его хасидизм не философская доктрина, не система социальной этики и уж тем паче не теософия, слобренная фольклором и бунтарством. Тем не менее все это в него

входило. Это было устремлением к синтезу, принятием того, что евреем можно быть самыми разными способами, ибо все пути куда-то приводят, если в начале их присутствует Бог.

Такой хасидизм ошибочно уподобляли пантеизму Спинозы. Для последователей Баал-Шема Бог не нейтрален и не является абстракцией. Он одновременно и союзник и судья человека в пределах всего сущего. Между ними ничем не заменимые узы — любовь. Бог сам нуждается в любви. Тот, кто любит Бога, в свой черед будет любим: любим человеком, любим Богом. Бога надо любить в человеке, ибо любовь к Богу осуществляется через любовь к человеку. Кто любит только Бога, одного лишь Бога, исключая при этом человека, низводит свою любовь и своего Бога до абстракции. Хасидизм Бешта отрицает всякое абстрагирование.

«Бог — это тень человека» — изречение это было истолковано Баал-Шемом следующим образом: подобно тому, как тень следует за жестами и движениями тела, так Бог следует за движением души. Если человек милосерден, милосерден будет и Бог. Имя главной тайны человека — Бог, а имя Бога — это слово, изобретенное самим человеком — любовь. Любя, человек любит Бога.

Как раз в этом смысле, в терминах бештианского хасидизма, Бог присутствует даже в зле, даже в грехе. Активно участвуя в созидании, Он стоит на стороне человека. Кто бы ни творил, утверждает тем самым, что этот акт имеет значение, выходящее за пределы творческого действия. И что же такое любовь, как не творчество, при котором два существа сливаются в единое сознание, тысячи раз израненные и тысячи раз исцеленные? Таинство любви, как и таинство Бога — единение. Что над нами, то и внизу. Между нашим, явленным, миром и иным, грядущим, существует такая же связь, как между источником света и отражением. Бог не противостоит человечеству, и человек, несмотря на свою уязвимость и бренность, способен обрести бессмертие в мимолетном мгновении. Во вселенной человека все соединено между собой, ибо все имеет свой смысл.

Отсюда проистекает терпимость, проявляемая Баал-Шемом по отношению к грешникам. Он не отвергал их.

Если требовалось, он мог понять — но не принять — зло в других. Но зло, не осознанное как зло, он считал недопустимым. Вот почему он никогда не пытался обращать неевреев в иудаизм. Он предпочитал «обращать» евреев в хасидизм или, в более широком смысле, — в иудаизм.

Чтобы реализовать себя, учит нас хасидизм Баал-Шема, человек должен прежде всего сохранять верность своему сокровенному, настоящему, истинному «Я»: он не может помочь другим, если отвергает самого себя. Человек, любящий Бога и в то же время ненавидящий или презирующий его творение, — в конце концов возненавидит Бога. Еврей, который отказывается от своего происхождения, отвергает собратьев, чтобы внести так называемый вклад в общее дело человечества, в итоге предаст человечество. Это справедливо для всех людей.

«Берегись, твой кучер — опасный, испорченный человек, — сказал Баал-Шем ученику. — Я видел, как он прошел мимо церкви и не перекрестился. Если он не любит своего Бога, с чего он будет любить тебя?»

Вся концепция хасидизма заключена в этой истории.

Баал-Шем интересовался людьми гораздо больше, чем теориями. Теории могут подождать. Его последователи: Маггид из Межирича, Шнеур-Залман из Ляд, Нахман из Брацлава — сформулируют их позже. В тот момент куда важнее было передать опыт, нежели книжную ученость, интуицию, чем логику.

Главным делом Баал-Шема было создание связей на каждом уровне. Все, что заставляло людей собраться вместе, что укрепляло общину, представлялось ему благом; все, что разъединяло их, — злом.

Итак, он обратился к поэтическому образу, к мистической концепции — к собиранию рассыпанных искр, к конкретному делу. Функция человека — умерить одиночество, ибо тот, кто ратует за одиночество, избирает гибель.

Вот почему во всех его рассказах безымянные нищие, скитальцы играют столь исключительную и важную роль. Они тоже заставляют людей мечтать, они тоже являются звеньями, связывающими людей. Каждый дровосек может оказаться пророком, каждый сапожник — праведником,

каждый незнакомец — Баал-Шемом. Что есть человек если не звено в цепи между Адамом и Мессией? Разве не являет он собой нечто большее, чем собственное «Я», разве не возвещает о большем, чем хотел бы получить? Пастух наигрывает мелодию — и Баал-Шем уподобляет его царю Давиду. Странник в лохмотьях вызывает смех — Учитель видит в нем Авраама. Если бы Баал-Шем смог встретиться с рабби Хаимом бен Атаром, ожидавшим его в Святой Земле, они совместно могли бы ускорить пришествие Мессии — так, во всяком случае, говорит хасидская традиция, придающая встречам особое значение. Любая встреча убыстряет шествие Избавителя. Два человека сливаются воедино — и мир уже не тот, что раньше; и если люди примут друг друга, все творение получит смысл, тот смысл, который они ему придадут. Это — новая идея, привнесенная в еврейскую жизнь хасидизмом. Личность не винтик чудовищного механизма: в ее власти изменить самые законы, которым она подчиняется, и самые взаимоотношения, существующие между Судьей, с одной стороны, обвиняемыми и свидетелями — с другой. Если правда, как утверждает Баал-Шем, что человек способен спрятать свет утренней зари, льющийся из-за темного леса, попросту закрыв глаза руками, верно и то, что он может вновь обрести его простым движением рук. Это как раз и совершил Баал-Шем. Благодаря ему, благодаря простому движению руки хасид открыл мир во всем его подавляющем величии и красоте.

А теперь давайте поговорим о чудесах, которые, как утверждают, Баал-Шем творил при жизни и даже после смерти. Рассказчик не упоминал о них ранее, поскольку они его смущают: они глумятся над его рассудком, над его склонностью к рационализму. Должны ли мы верить, что этот неуклюжий, застенчивый человек, достигнув самого расцвета сил, стал развлекаться, переустраивая мировой порядок? Утверждают, что он дал знания одним, а других лишил памяти, что он находил потерянные предметы и возвращал людям лошадей, сбившихся с пути. Говорят, он лечил больных куриным бульоном, прописывал средства от храпа и... уговаривал ксендза отказаться от celibата.

Наивные и ребяческие истории эти непременно вызовут у нас улыбку. А с другой стороны, кто знает — быть может, безыскусно записанные и передаваемые истории просто призваны испытать наш здравый смысл, или веру, или фантазию? Баал-Шем как бы находится за пределами всего того, что может вообразить человек. Поощрял ли Учитель эти истории? Своему слуге рабби Якову он повелел пуститься в странствия и разбогатеть, рассказывая истории — о Беште, конечно. Но желал ли он, чтобы рабби Яков или кто-либо другой дополняли и приукрашивали их по своему усмотрению? Не исходят ли эти преувеличения от него самого? И если да, то в чем заключалась их цель? Произвести впечатление на поклонников, которые привязаны к нему всем своим существом? Почему он, выказавший подлинное величие в самых разных областях, почувствовал необходимость, прибегнув к чудесам, показать, что ему подвластно потустороннее?

Не исключено, что он хотел показать еще одно звено, наличествующее между житейским опытом и мечтами человека, и показать, как можно превзойти опыт с помощью мечтаний? Рассмотрим эту гипотезу. Решимся сделать еще одно допущение — хотя, мол, сам Баал-Шем не нуждался в чудесах, в них испытывали потребность его будущие последователи, дабы закрепить позиции и овладеть умами. Им необходимо было верить, что Бог заинтересован в своих созданиях, что он внимлет всем голосам, им необходимо было верить, что чудеса все еще возможны, доступны даже им. Поэтому, вероятно, Баал-Шем и стал чудотворцем...

Похоже, все его удивительные, невероятные поступки продиктованы желанием объединить людей, предложив им песню как убежище и легенду как щит. Рассеянный и растерзанный еврейский народ нуждался в приливе новых сил — и Учитель обещал детей бездетным парам. Если он несся со «скоростью молнии», то потому, что необходимо было освободить какого-нибудь корчмаря, заживо погребенного в темнице — всегда где-нибудь да случался еврейский корчмарь, которого барин бросил в тюрьму за недоимки, за то, что тот делал свое дело недостаточно (или же, напротив, слишком) хорошо. Враги измышляли очередные гонения? Учитель знал, где и какую молитву прочитать, чтобы разрушить козни. Ну а если кто-нибудь блуждал во

тьме? Простым взглядом Баал-Шем возвращал его на путь истинный. Главная тема оставалась всегда одной и той же: отринуть отчаяние — задача самого человека. Лучше полагаться на чудеса, чем сидеть сложа руки. Изменяя себя, человек может изменить мир.

Таким образом, человеку дано принять свои противоречия. Обнаружить в гордости смирение, в великодушии — бесхитростность и чистосердечие, в правосудии — милосердие. Выбора нет: должно наделять смыслом то, что, быть может, его лишено, и научиться распознавать благодать в безликом, безымянном страдании.

Конечно, соглашаясь последовать за Баал-Шемом к последнему пределу восприятия, мы рискуем оказаться в мире, который реальным никак не назовешь. Самому Баал-Шему пришлось заплатить за это. Особенно к концу жизни он стал проявлять все возрастающие признаки раздражения и душевного угнетения и выражался «противно законам языка». Он, посвятивший столько труда тому, чтобы его понимали, уже не мог этого добиться. Лица, происшествия, слова — он все забыл. Он потерял контакт с окружающими. Он бился головой о деревья, совершал какие-то странные, напоминающие пляску, телодвижения. Бешт раскаивался в том, что пользовался своей силой. Он перестал быть собой.

Однажды он говорил дольше обычного, и слова его были еще зажигательнее, чем всегда. Зачарованные ученики отдавали себе отчет в том, что присутствуют при неповторимом событии. Внезапно он остановился. И забыл все, что сказал. Забыл, что вообще говорил. Приблизительно в то же время случилось другое происшествие: как-то в микве Баал-Шем вдруг почувствовал, что погружается в воду. И только крик ученика: «Учитель!» — вернул его на поверхность.

Он сжег свою жизнь. И дал слишком много обещаний, которые Богу неуютно было исполнить.

В шестьдесят лет он заболел: внутренности разрывали его на части. Был *Песах*. Нарушив привычку, он праздновал святой день вдали от людей, погружившись в молчание и непрерывные размышления. Через семь недель, в *Шавуот*, чувствуя приближение конца, он отдал близким подробные распоряжения о своих похоронах. Он просил их

спеть около его ложа и пригласил *миньян* для последней молитвы: «У меня осталось два часа, чтобы поговорить с Богом. Увидев слезы на глазах своих верных учеников, он добавил: — Зачем вы плачете? Ведь я выхожу в одну дверь только для того, чтобы войти в другую».

Рабби Пинхас из Кореча начал молиться за него. «Слишком поздно, — сказал ему Учитель. — Свершилось, и свершившегося не отменить».

Символический момент, разъявший время и судьбу хасидизма. Конец целой эпохи. И рождение другой: хасидское движение продолжило дело Бешта, распространилось и шло от победы к победе, от триумфа к триумфу, свежим воздухом врываясь в душные халупы, сотрясая рутину жизни, поддерживая больных в их страданиях и приговоренных в их смиренном или вопрошающем молчании.

В течение двух следующих веков легенда Бешта всплывала не раз, когда судили его последователей: она помогала людям выживать, а иногда готовиться к смерти. Она явилась даже в царстве ночи. Еврейский поэт видел: где-то там, на Востоке, у рвов, доверху заполненных трупами, стоял Баал-Шем. И вдруг к великому гостю протянулись руки и послышался крик: «Добро пожаловать, рабби Исраэль, Баал-Шем-Тов, спасибо тебе за твои чудеса, рабби Исраэль, сын Элиэзера!»

Итак, в царстве хасидской легенды Баал-Шем провожает своих учеников до самого края ночи. Опять чудо? Конечно же нет. Смерть отрицает чудеса. Смерть миллиона детей отрицает нечто большее, чем чудеса.

Что не может не изумлять нас, так это то, что хасиды оставались хасидами в стенах гетто, в лагерях смерти. Под топором палача они прославляли жизнь. Пораженные немцы шепотом передавали друг другу рассказы о евреях, которые танцевали в катящихся в Биркенау вагонах для скота. Хасиды праздновали *Симхат-Тора*. А еще были те, кто в блоке 57 в Аушвице старались заставить меня присоединить свой голос к их пылким песнопениям. Были ли это чудеса, иные из которых не удались? Возможно.

И еще одно. Искра, вспыхнувшая в Карпатских горах, не угасла. Напротив, она питает наше собственное колеблющееся пламя. Укрепившись в Иерусалиме, хасидизм вновь

охватывает диаспору. Трудно вообразить более необычное явление: потеряв в Катастрофе почти всех своих последователей, хасидизм закипел вновь энергией. На Любавическом подворье в Бруклине можно встретить сотни молодых людей со всех концов мира. Я встречал хасидов в Ленинграде, в Киеве, Москве и был глубоко тронут их скрытой верой.

И все они старались определить себя применительно к давно ушедшим учителям.

Они живут в Америке, но они — лизенские, межиричские или рижинские. Нет больше евреев в Вижнице, но есть вижницкие хасиды по обе стороны океана. Это справедливо и для других ветвей хасидизма или хасидских династий. Гер, Косов, Садигора, Карлин — эти царства просто перенесли свои столицы в другие места. Любавич находится повсюду, кроме Любавича, Сигет и Сатмар уже не в Трансильвании, а там, где живут и помнят все сатмарские и сигетские хасиды. И живут истории, оставленные нам Бештом, чтобы мы переживали их, как свои собственные. Именно это — наиболее поразительное, наиболее трогательное из его чудес.

Достойны ли мы этих историй и легенд? Как сказать. Способны ли мы еще повторять эти легенды без ущерба для их непосредственности? Как сказать. Можем ли мы и теперь со страстью и благодарностью перечислять: *алеф, бет, гимел, далет* — так же, как некогда, давным-давно, произносил их он, чтобы словом освободить нас от изгнания? Способны ли мы еще начать все сначала?

УЧЕНИКИ

Вот история о том, как рабби Яков-Йосеф из Полонного приобщился к хасидизму.

Однажды утром явился он в Шаргородскую синагогу и увидел, что она пуста.

— Где же наши евреи? — спросил он служку.

— На рынке.

— Все? И это в час, когда им следовало бы молиться?

— Видите ли, там какой-то незнакомец рассказывает истории. А говорит он так, что никому не хочется уходить.

— Какое бесстыдство! Ступай и немедленно приведи его сюда.

Делать нечего, и служка повиновался, ведь это — его обязанность. Он побегал на рынок, пробрался сквозь толпу и передал повеление рассказчику.

— Прекрасно, — сказал незнакомец, — я иду.

Рабби не встал ему навстречу:

— Кто ты такой, и как осмеливаешься ты совращать общину с путей Господних?

— Не сердись, — сказал пришелец, — такой рабби, как ты, никогда не должен поддаваться гневу. Вместо этого выслушай историю.

— Что? Еще история? Похоже, твоя наглость не знает границ. Ты заплатишься за это.

— Гнев — это то, что нужно держать в узде, — мягко заметил пришелец. — Послушай меня...

Что-то в его голосе взволновало рабби, и он замолчал. Он не мог не слушать, такого с ним раньше никогда не бывало.

— Эта история случилась со мной, — произнес Баал-Шем. — Я ехал в повозке, запряженной тремя разномастными лошадьми, и ни одна из них не ржала. Я не мог понять — почему? До тех пор, пока мы не встретили по дороге крестьянина, который крикнул мне, чтоб я ослабил поводья. И в ту же секунду все три лошади заржали.

Ослепительной вспышкой предстал перед рабби из Шаргорода смысл притчи. Чтобы душа трепетала и звучала, она должна быть свободной: обилие запретов душит ее.

И он начал плакать. Он рыдал так, как никогда не рыдал раньше: свободно, неудержимо, без всякого видимого повода. Что случилось позднее — хорошо известно: рабби Яков-Йосеф стал одним из столпов нового движения.

«Человек не одинок, — сказал Баал-Шем своему товарищу, рабби Пинхасу из Кореца. — Прошлое отягощено значением. Оно наполняет наше одиночество. Ты и я, все мы должны отдавать себе в этом отчет. Давным-давно, в Египте, каждый из нас старался сохранить святой язык, имена наших предков и память о Завете. У ног пророков каждый из нас получал наставления. Каждый из нас следовал за Йохананом бен Заккаем в изгнание, каждый из нас

внимал устрашающим словам Шимона бар Йохая. Вот почему мы должны оставаться вместе».

И они оставались вместе.

Блистательный и скромный человек, но неистовый индивидуалист, рабби Пинхас из Кореца настойчиво искал свой собственный путь, вместо того чтобы просто следовать за Учителем — и вообще за учителями. Оттого он и не объявил себя учеником Баал-Шема, будучи, однако, его другом.

Хасидская традиция гласит, что рабби Пинхас из Кореца научился у Баал-Шема трем вещам, правда, не говорится каким именно. Взамен рабби Пинхас научил трем вещам Баал-Шема — возможно, тем же самым.

Он горевал, что у него нет голоса: «Если бы я мог петь, я бы заставил Бога жить среди людей».

Он не видел проку в почестях и богатстве. Несмотря на свою бедность, рабби Пинхас говорил: «Я никогда не желал того, чего бы у меня уже не было».

Став Учителем — против своего желания — он сказал: «Всему, что я знаю, я выучился раньше, сидя в стороне в последнем ряду у печки. А вот теперь я восседаю здесь на почетном месте — и я не понимаю...»

Многочисленные поклонники так беспокоили его, что он умолял Бога сделать его отвратительным в глазах людей. Желание было удовлетворено. С тех пор его избегали. Но в результате одиночество рабби Пинхаса легло тяжким бременем на его жену. Позже оно и его стало огорчать. Тогда он упросил Бога вернуть ему подлинные черты и признал, что человек не должен выдавать себя за кого-то другого.

Его страстью было возвращать выкрестов в лоно Израиля. Он полемизировал с ними, был открыт и никогда не обходил острых углов. Он объяснял преимущества раскаяния, доказывал его возможность, а в заключение уговаривал выкрестов прочесть вместе с ним «Шма, Израэль», прибавляя: «Ведь это вам ничего не стоит». Чтобы порадовать его, некоторые соглашались.

Однажды ему сообщили, что несколько вероотступников требуют доказательства бытия Божия. Он кинулся в синагогу, открыл Ковчег Завета, схватил свитки Торы и

вскричал: «Я клянусь, что Бог существует, разве этого доказательства мало? Что еще им надо?!»

Правда была для него высочайшей добродетелью. Он как-то сказал: «Если бы все люди говорили правду, не пришлось бы ждать Мессию: он пришел бы давным-давно».

Во время подготовки к путешествию в Святую Землю рабби Пинхас из Кореца заболел. Дрожа в лихорадке, в бреду он говорил только о смерти. Никогда не видели его таким подавленным и страдающим. Снова и снова призывал он своего друга рабби Хаима из Красны, умоляя не покидать его одного: если ты останешься со мной, я меньше буду бояться Ангела смерти». Рабби Хаим находился в соседней деревне. Была суббота. Срочно созванный Совет раввинов разрешил послать за ним гонца. Рабби Хаим прибыл на следующий день. Слишком поздно.

Несмотря на свои богатства, ученость и почести, которыми его осыпали, рабби Нахман из Косова принадлежал к хасидскому братству, практикующему аскетизм. В нем сидел бунтарский дух — он противопоставлял себя всем. Хасиды считали его антихасидом, а для врагов Баал-Шема он был его приверженцем.

Когда ему указывали на то, что, вопреки традициям предков хасиды пользуются новым молитвенником, он раздражался: «С чего это вы беспокоитесь? Почему вы уверены, что все ваши предки попали в рай?»

С самого начала дружбы между рабби Нахманом из Косова и Баал-Шемом их отношения были и оставались двусмысленными. Однажды Баал-Шем обронил довольно странное замечание: «Рабби Нахман из Косова пытается поймать, хуже того — убить меня, но это ему не удастся».

«Знаешь, кто отменил небесное повеление, которое навлекло бы страшные бедствия на наш народ? — спросил Баал-Шем рабби Нахмана из Городенки. — Я скажу тебе. Отнюдь не я, не ты, не руководители общины. Молитвы наши, посты наши — все было напрасно. Спасла нас простая женщина, женщина из народа. Вот как это случилось. Она пришла в синагогу. Слезы струились по ее лицу, и сказала она Всемогущему: «Владыка небесный! Отец Ты нам или нет? Почему ты не хочешь внять голосу детей Твоих, умоляющих Тебя? Ты видишь — я мать, и детей у меня

много — пятеро. Когда они проливают слезы, сердце мое разрывается. Но у Тебя, Отец, у Тебя их намного больше. Ведь каждый человек — Твое дитя, и каждый плачет, плачет и плачет. Неужели Ты, даже если сердце Твое сделано из камня, можешь оставаться безучастным?» Бог признал ее правоту», — закончил Баал-Шем.

Рабби Давид Кицес очень любил путешествовать. Однажды на каком-то далеком острове встретил он человека в восточных одеждах, который принялся дотошно, до малейших подробностей расспрашивать его о положении евреев в Центральной Европе. «Слава Богу, — отвечал рабби Давид, — все в порядке».

«Несчастный, — выговаривал ему позже Баал-Шем, — ты должен был поведать ему о наших страданиях. Ты должен был кричать, вопить о наших бедах. Понимаешь ли ты, *КТО* задавал тебе вопросы?»

Рабби Давид Лейкес плакал всего лишь один раз: в день смерти Баал-Шема.

Рабби Давида любили за безудержную заразительную жизнерадостность. Молитвы приводили его в восторг. Даже сетования превращал он в песню.

Он пережил свою жену, четырех сыновей и трех дочерей. В трауре, одинокий, встречал он 74 год своей жизни. И все же он не поддался скорби. «Дабы воздавать хвалу Богу, должно жить, — сказал он, — а чтобы жить, нужно наслаждаться жизнью, наслаждаться жизнью вопреки самой жизни».

И он снова женился — на хозяйке постоянного двора. И она родила ему трех сыновей и дочку.

Рабби Давид довольствовался должностью председателя раввинского суда, и ум его до конца оставался ясным. Было ему сто лет, и, лежа на смертном одре, он услышал судебные прения в соседней комнате и пожаловался: «Почему вы оставили меня в стороне? всю жизнь свою я помогал Богу в Его работе, внизу. Разве настало время отстранить меня от службы?»

И он выслушал свидетелей, отметил противоречия в их показаниях и вынес приговор. Минутой позже, с безмятежным и просветленным лицом, он произнес свои последние слова: «Вот, я покидаю один суд, чтобы предстать пред другим».

Рабби Лейб, по прозвищу Шпольский дедушка, говаривал: «Если б мне довелось увидеть Баал-Шема во второй раз, может, я бы и стал кем-то».

Но ему не надо было «становиться».

Он славился добросердечием, простотой, приветливостью, и его прозвище вполне подходило ему. Шпольский дедушка играл с детьми и любил истории. Он обладал способностью делать людей счастливыми. А еще он был первым рабби, превратившим танец в ритуал. Наблюдая, как он кружится и раскачивается, сын великого Маггида из Межирича воскликнул: «Твой танец значит больше, чем мои молитвы!»

Подобно большинству хасидских учителей его поколения, он вел бурную и беспокойную жизнь до того как снискал известность. Он входил в сборище бродячих нищих, которые скитались от деревни к деревне, вызывая то смех, то негодование, зарабатывая за одно и то же то аплодисменты, то затрещины. Ему едва удалось бежать, когда один известный цадик чуть не угадал его истинное лицо.

В числе прочих приключений рабби Лейбу пришлось пережить двухмесячное заключение в тюрьме. Перед побегом ему удалось склонить к раскаянию конокрада, так что бежали они вдвоем; позднее будущий рабби стал синагогальным служкой, и лишь тогда их пути разошлись.

«До того, как родиться, — рассказывал он, — я отказывался от жизни. Стоит ли тяжело трудиться среди смертных, мучимых собственными слабостями? Чтобы я согласился появиться на свет, мне разрешили выдвинуть определенные условия. Я поставил четыре: чтобы я никогда не болел, чтобы мои будущие дети стали честными и простыми евреями, чтобы я никогда ничего не забывал — и еще одно, которое я не имею ни желания, ни права разглашать».

Эта история имеет продолжение:

«Знаете ли вы, кто в конце концов заставил меня думать по-иному? Крестьянин с лопатой в руках обратился ко мне, словно к старинному приятелю: «Эй, послушай, — сказал он. — Рассуди хорошенько: я тружусь без передышки, чтобы дать хоть немного радости и отдыха людям, которые в этом так нуждаются. А ты? Лежишь тут, как будто ты не человек — венец всего сущего. Почему ты отказываешься помочь мне?» — Понимаете, — прибавлял Шполь-

ский дедушка, — против ангела я бы устоял, но не против него. В общем... Знаете, кто это был? Да, сам Баал-Шем».

Рабби Лейб всегда держал сторону человека, защищая его даже от Бога.

О «Господи, Ты не прав. Ты наполнил книги адом, а сердца желанием. Разве удивительно, что человек позволяет себе соблазниться злом? Ах, если б все было иначе...»

В другой раз он сказал: «Если Ты думаешь, будто сумеешь вернуть народ Свой на правильную стезю, причиняя ему страдания, то я, Лейб, сын Рахели, ручаюсь Тебе, что Ты не добьешься успеха. А раз так, зачем стараться? Спаси детей Своих, даруя им радость и избавление. Поступая таким образом, Ты ничего не теряешь, а приобретешь все...»

И еще: «Господи, спаси народ Свой, пока не поздно. Иначе Тебе просто некого будет спасать».

Голод опустошал страну. Шпольский дедушка созвал суд в составе десяти ученых талмудистов: «Мне нужно, чтобы вы вынесли постановление. Я обвиняю Того, Кто убивает своих детей».

И он цитировал тексты и толкования, указы и решения, доказывая, что Бог несправедлив, что Он не исполняет своих обязанностей по отношению к человеку.

Разбирательство длилось три дня. Затворившись от остального мира, суд без страха и предубеждения изучал иск, рассматривая его со всех точек зрения, взвешивая все доводы, и наконец вынес приговор: «Поскольку Отец всякой твари несет ответственность за ее прокормление, пусть Он положит конец голоду».

Была у Шпольского дедушки привычка: во время новогодней службы, перед тем, как раздастся звук шофара, уединяться в своей комнате на часок-другой. Зачем? А затем, чтобы поговорить с Богом на языке, который не был языком молитвенника: «Не думай о грехах людей, молю Тебя, подумай об их добрых делах. Воистину, их меньше — я согласен. Но ведь они ценятся куда дороже: Поверь, не так-то легко быть хорошим человеком в этом мире. И если бы я собственными глазами не видел, что человек, несмотря на все препятствия, способен на доброту, я ни за что не поверил бы этому.

Итак, я прошу Тебя: не будь жесток со своими детьми. Как ни редка у них доброта, именно она должна тебя удивлять».

Когда рабби Нахум из Чернобыля пришел к Баал-Шему, тот сказал своей жене: «Хана, погляди на него: это вор». — «Кто вор? Да он святой!» — «Вор, говорю тебе. Он хочет весь Рай для себя одного».

Гостю он заявил: «Ты хочешь, чтоб я взял тебя к себе? Ладно. При одном условии: ответь мне, чем отличается ночная молитва, известная под названием «Тиккун Лея», от другой, называемой «Тиккун Рахель?»»

Рахель и Лея — две жены Яакова. Эти молитвы читают в полночь и именно в полночь скорбят о разрушении Храма и об изгнании Шхины.

«Кажется, я знаю разницу между ними, — прошептал рабби Нахум, — то, что Лея совершила слезами, Рахель — и более прекрасная, и более счастливая — совершила радостью».

Почему праведник должен заботиться о бранных мирских делах, обо всех людях?

«Вообразите себе человека, сидящего на крыше, — объяснил рабби Нахум. — Внизу, в пыли он видит жемчужину. Как он ее поднимет, если не спустится?»

Однажды он внезапно остановился посреди проповеди: «Братья мои, внимательно слушайте мои слова, даже если вы в них ничего не поймете. Так уж лучше привыкайте к этому».

Он говорил также: «Я куда больше боюсь своих добрых дел, приносящих мне удовольствие, чем злых, которые внушают мне отвращение».

Он вел простую и скромную жизнь: «Я люблю нищету. Это Божий дар человеку, сокровище».

Рабби Михлу из Злочева задали каверзный вопрос:

— Ты беден, рабби, и все же каждый день благодаришь Бога за заботу о твоих потребностях. Разве это не ложь?

— Вовсе нет. Видите ли, бедность для меня — потребность.

Он говорил: «Сознание человека находится в постоянном движении. Мое — следует за великими людьми в их восхождении и привлекает малых, чтобы поднять их вместе со мной».

Это его слова: иногда святость — всего лишь нечистое искушение.

Вот одна из его молитв: «Отец небесный! У меня только одна просьба: не допусти меня воспользоваться разумом против истины».

До того, как открыться людям, рабби Михл ютился с семьей в лачуге. Было это в Ямполе. Его считали сумасшедшим, поскольку во время молитв он обычно бился головой о стену до тех пор, пока она не окрашивалась кровью.

Баал-Шему пришлось уговаривать его занять пост рабби-проповедника (маггида). Люди боялись его, жаловались, что он видит их насквозь. Действительно, ему достаточно было взглянуть на лоб человека, чтобы угадать его грехи. Однажды прихожане явились в синагогу в шапках, надвинутых на самые брови. Он с досадой заметил: «Неужели вы верите, будто укроетесь от меня шапками?»

Как все ученики Баал-Шема, он страшился гордыни: «Когда я предстану перед Создателем, Он спросит, почему я не научился всему тому, чему человек может и должен научиться за время пребывания на земле? И я отвечу: «Не осуждай меня — я был недостаточно умным, но вряд ли это моя вина». «Тогда почему ты не отказался от земных удовольствий и не посвятил всего себя служению Господу?» «Ты не должен винить меня, — скажу я, — у меня просто не хватило для этого телесных сил». Потом суд разберет, помогал ли я людям. Я буду вынужден признать, что и здесь мне частенько не удавалось исполнить свой долг. Оправдываться я смогу лишь тем, что сам всю жизнь нуждался. Но, видится мне, под конец один из судей, не сдержав гнева, воскликнет: «Одного я не в силах понять. Ты не жил, не молился, как тебе следовало, чем же ты так ки-чишься?» И на это, — говорил рабби Михл, — на это обвинение у меня не найдется ответа».

Рабби Вулф из Збаража, человек бесконечно благочестивый, бесхитростный, каждый вечер, перед тем как лечь спать, повторял: «Я отказываюсь от своих прав на все, чем владею. Все, что принадлежит мне, более не мое. Значит, не беда, если воры что-нибудь украдут, ведь они не нарушат закон».

Однажды в его присутствии жена поссорилась со служанкой. Увидев, что женщины отправились в раввинский суд, он встал, надел субботнюю одежду и последовал за

ними. «Зачем ты беспокоишься? — спросила жена. — Обойдись без твоей помощи». «Ты-то да, а служанка? Тебя они знают, а ей, бедной сиротке, никто не поможет».

Своему кучеру он сказал: «Пожалуйста, выбрось кнут. Даже если лошадь действительно заслуживает кары, почему ты считаешь, будто именно тебе предназначено наказывать ее?»

Как-то ему донесли, что такие-то евреи поздно ночью играли в карты.

«И вы хотите, чтобы я осудил их?! — вскричал он. — А почему я? И во имя чего, за какое преступление? Они засиживаются допоздна? Но ведь это прекрасно — сопротивляться сну. Они сосредоточивают свое внимание на игре — и это тоже похвально! Рано или поздно на карты они махнут рукой, а дисциплина ума и тела останется. И это время они тогда посвятят Богу. С чего же мне осуждать их?»

Как-то он участвовал в церемонии обрезания. Выглянув на улицу, он заметил дрожащего от холода кучера: «Внутри тепло, — сказал он ему, — пойди согрейся, выпей и съешь чего-нибудь». — «А кто же присмотрит за лошадьми?» — «Я».

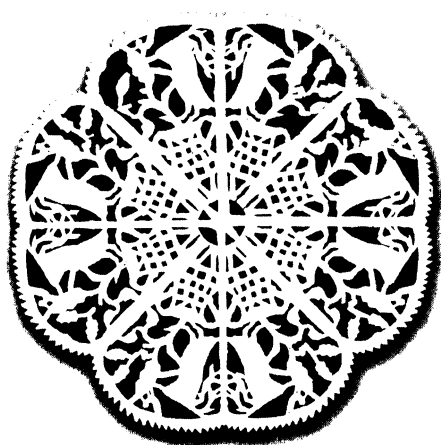
Кучер сделал так, как пожелал учитель.


Через несколько часов люди нашли рабби Вулфа: весь в снегу, замерзший, он прыгал с ноги на ногу. До него просто не доходило, почему, собственно, гости подняли такой шум.

Легенда изображает рабби Гирша, сына Баал-Шема, застенчивым и малопримечательным человеком. В то время, как отец его умирал, рабби Гирш заснул. Его пришлось разбудить и привести к смертному ложу Учителя, и тот заговорил с ним, однако рабби Гирш ничего не понял. Его призывали возглавить движение, но убедились, что ему недостает авторитета. Он ушел в себя и в последние годы жизни беседовал только со своим покойным отцом. Во сне он спросил его: «Как следует служить Богу?» Баал-Шем поднялся на высокую гору и ринулся в пропасть. «Вот так», — ответил он.

В другой раз Баал-Шем явился ему в образе горы, объатой огнем и извергающей тысячи языков пламени: «И вот так тоже».

МАГГИД
ИЗ МЕЖИРИЧА



 Почему ты плачешь, мама? Потому что горит наш дом?» — «Да». — «Мы обязательно построим другой, я обещаю тебе». — «Дело не в доме, сынок, я плачу оттого, что драгоценный документ гибнет на наших глазах». — «Какой документ?» — «Наша родословная, наше фамильное древо, а ведь оно прославлено, ты знаешь». — «Не плачь. Я дам тебе другое. Я начну новое, я обещаю тебе».

В это время Дов-Беру было пять лет.

Он родился на Волыни в 1710 году и был на десять лет младше Баал-Бема. Будущий Маггид из Межирича происходил из бедной семьи. Учился он прекрасно; как и Баал-Шем, рано женился; зарабатывал скудно — сперва учил детей, а позже стал странствующим проповедником. Он пользовался всеобщим уважением, прослыл честным, благородным, строгим и требовательным человеком. Бедствуя, он нашел приют в заброшенной лачуге, где и жил со своей женой в полной нищете. Здесь родился их сын Авраам.

Утверждают, что однажды, когда жена своими сетованиями вывела его из себя, Дов-Бер воскликнул: «Да будет так: я прокляну мой народ, ибо он мог бы помочь нам, но не делает этого». Он вышел на улицу и, глядя в небо, ска-

зал: «Да обретет Твой народ счастье, мир и благополучие». И, вздохнув, прибавил: «Но его деньги, деньги, в которых он мне отказывает, — пусть обратятся они в камни и крапиву».

Дов-Бер, однако, так и остался бедняком, но никогда больше не жаловался. Напротив, он превратил нищету в добродетель. Как и большинство ранних учителей, он поначалу страстно противился хасидизму. Он не одобрял путь Баал-Шема и как ученый-талмудист, и как мистик, верящий в необходимость умерщвления плоти. Путь самого Дов-Бера был иным: не облегчать, а отягощать жизнь. Он вел размеренное, интроспективное существование, иногда постясь от одной субботы до другой. Он терзал свое тело, пока ему стало невмочь, и он опасно заболел. Обратился к лекарям, но те признались, что не в состоянии ему помочь. Тогда кто-то посоветовал ему повидать Баал-Шема, провидца-исцелителя, о котором говорили все вокруг. Он пошел к нему, руководствуясь скорее заботой о своем здоровье, нежели интеллектуальным любопытством. Он рассчитывал на некоторое облегчение страданий, возможно, даже на полное излечение, но, разумеется, не ожидал влияния достаточно сильного, чтобы заставить его сойти с намеченного пути.

Мы знаем: их первая встреча оказалась неудачной. Правда, гость и не надеялся на многое, но это было хуже, чем разочарование. Это был полный провал. Баал-Шем рассказал ему причудливую историю о кучере и лошадях (вроде той, что он поведал Якову-Йосефу из Полонного) — и все. Измученный и встревоженный, Маггид ответствовал гробовым молчанием. «Я тащился в такую даль не за тем, чтобы выслушивать побасенки о лошадях», — подумал он. Контакта так и не получилось. Казалось, у этих людей нет ничего общего. Маггид, раздосадованный напрасной потерей времени, вернулся на постоянный двор и приготовился к путешествию домой. Лошади были запряжены, коляска ждала, когда явился посыльный и пригласил его к Баал-Шему. Маггид согласился вернуться. Почему? Вероятно, решил, что, явившись в такую даль, может позволить исцелителю предпринять вторую попытку. Они встретились в полночь. Баал-Шем вручил ему Книгу Сия-

ния, «*Зохар*»: «Можешь читать?» — «Да». — «Прекрасно. Читай». Маггид повиновался. «Так нельзя читать, — прервал его Баал-Шем. — Я вижу: ты умеешь разбирать знаки, но твоим знаниям нужна душа».

И тут все преобразилось. Комната озарилась светом. Маггид вновь стоял на Синае, он увидел огонь. И он понял, чего ему недостает, понял и то, что Бешт — единственный человек, который поможет ему достичь вершины. Он стал его учеником, свидетелем, его самым блестящим последователем. Позднее, проповедуя учение Баал-Шема, он удостоверял подлинность самых невероятных историй, заявляя: «Я при этом присутствовал». Вот один из примеров: «Когда Баал-Шем ел, с небес слетел Ангел, схватил его еду и предал ее жертвенному сожжению. Я там был и видел это своими глазами».

Верил ли он сам в свои истории? Возможно. Он любил повторять их. Он рассказывал истории о своем Учителе, но очень редко цитировал его. Изречения, притчи, основные мысли Баал-Шема можно найти в работах других его учеников. Маггид не оставил нам ничего, кроме историй, полных сверхъестественных деяний. Без сомнения, это был способ изложить его собственную концепцию рабби-учителя, облеченного почти безграничной властью. Вдобавок подчеркивалась исключительная близость Маггида к Баал-Шему. Как будто ему одному дано было видеть то, что Учитель скрывал от других.

«Что ты узнал в Межириче? — спросили у рабби Аарона из Карлина. — «Ничто». — «То есть как?» «Да так, — сказал он. — В Межириче я узнал, что я — ничто». «А ты? — спросили рабби Леви-Ицхака из Бердичева. — Что ты открыл в школе великого Маггида?» — «Я открыл, что Бог существует, что Он — Бог этого мира и всех миров». — «Но, рабби, это знает каждый». «Нет, — ответил знаменитый бердичевский рабби, — везде это говорят, а в Межириче это знают».

Третий Учитель хасидизма, рабби Шмелке из Никольсбурга, свидетельствовал по-своему: «Давным-давно, в ослеплении юности, я умерщвлял свою плоть, чтобы примирить ее с душой. После Межирича я понял, что был неправ. Плоть и дух могут и должны жить в гармонии».

Эти три истории весьма симптоматичны. Они раскрывают облик паломников, очарованных Межиричем, а также многообразие знаний, почерпнутых ими там.

«После смерти Учителя нашего, Исраэля Баал-Шем-Това, сама Шхина взвалила на плечи поклажу, взяла посох и пошла из Меджибожа в Межирич», — говорит нам легенда устами нескольких прославленных учеников. Достоверная или апокрифическая — не столь уж важно, — она доказывает одно: именно Маггид пришел на смену Баал-Шем-Тову.

С этого момента он стал признанным вождем стремительно распространившегося движения, средоточие которого отныне переместилось. Его авторитет, недолго оспариваемый вначале, более уже не подвергался сомнению. Духовный наставник, Учитель, опытный тактик, закаленный организатор и выдающийся мистик слились в одном человеке. У рабби Дов-Бера из Межирича насчитывалось триста учеников; тридцать девять из них стали по праву духовными руководителями, основателями династий.

С ним хасидизм испытал первую структурную, если не идеологическую мутацию, из царства легенд перейдя в сферу истории. Даже те историки, которые по причинам, известным лишь им самим, сомневаются в реальном существовании Баал-Шема, никогда не отрицают того, что Маггид из Межирича был его преемником.

Мы знаем только то, что нам позволили узнать об этом таинственном наставнике. Хотя сам он не оставил никаких текстов, ученики записали его комментарии к Торе и Талмуду, его толкование «Зохар», его советы и притчи. Они обильно цитировали его в своих трудах. Леви-Ицхак в своем рвении доходил до крайностей, записывая самые тривиальные замечания Учителя. Другой ученик, рабби Зуся из Аниполи, пошел еще дальше: всю жизнь он посвятил скрупулезному повторению всего, что слышал в Межириче.

Мы знаем немало фактов о происхождении Маггида, о его детстве, о жизни до и после неожиданной встречи с Баал-Шемом.

Мы знаем, к примеру, что в юности он любил вставать с рассветом и гулять по берегам озер и ручьев — он учился искусству слушать. Мы знаем, что он был близоруким. Что

он прихрамывал. Что его непрерывно терзали непонятные боли. Что он дрожал перед публичными выступлениями. Мы знаем также, что он ел и спал невероятно мало, что под суровой личиной скрывался великодушный человек и нежный отец. Но, сверх того, мы знаем, какой бесценный и уникальный вклад внес он в развитие хасидизма и обогащение его вдохновенного мира.

В Межириче, новом центре обучения, имелось много одаренных людей. Среди них — Элимелех из Лизенска, Зуся из Аниполи, Шнеур-Залман из Ляд, Исраэль из Кожниц, Яков-Ицхак из Люблина. Там можно было встретить и товарищей Баал-Шема, таких как Пинхас из Кореца или Яков-Иосеф из Полонного. Они все, вместе и порознь, признавали Маггид своим руководителем.

Каждый из его учеников получал от него все необходимое для того, чтобы обрести опору и реализоваться в соответствии со своим собственным представлением об истине. Одних Маггид обучал «*Нигла*» — науке откровения, других — «*Нистар*» — эзотерической мудрости, доступной только избранным. В то же время и с той же убежденностью он втолковывал простым неученым людям, что, лишь читая молитву *Шма Исраэль*, они могут заслужить избавление. Для каждого находил он нужное слово, подобающий жест. В его присутствии люди ясно представляли себе, сколько еще им предстояло узнать. Они обнаруживали в себе глубины, о которых и не подозревали. Но, чтобы достигнуть полного, всеобъемлющего самопознания, они нуждались в его помощи. Тех, кто предавался умерщвлению плоти, он учил, что плоть священна пока живет, что увечить тело — грех перед Господом. Тем, кто пребывал в спокойствии и благополучии, пренебрегая добродетелью страха Господня, он показывал, что такое страх.

Множество людей, чью жизнь изменил Баал-Шем, и множество других, жаждущих изменить свое существование, толпами стекались в Межирич. Маггид знал, кого следует привлечь и поощрить, кого отослать прочь. Обладая могучей интуицией, он наполнял смыслом всякое ожидание и исправлял все изъяны. Если верить его приверженцам, он, как и его учитель, мог досконально описать человека, взглянув на предмет, сделанный его руками.

Судя по всему, Маггид владел искусством завоевывать абсолютную преданность людей, выводя их из равновесия. Методы основывались на использовании шока, эффекта внезапности. Его речи были столь же неожиданны, как и его молчание. Одному посетителю он сказал только: «Лошадь, знающая, что она лошадь, уже не лошадь. Основная задача человека — усвоить, что он не лошадь». Другому заявил: «Точно так же, как на земле существуют свет и тьма, существуют свет и тьма в душе человека». Банальная сентенция приобретала в его устах силу откровения. «Когда больной Маггид рассказывал простую, непритязательную историю, — сообщает Исраэль из Рижина, — ложе, на котором он отдыхал, начинало неистово дрожать, и то же самое происходило с немногими избранниками, допущенными к нему». Баал-Шем заставлял людей мечтать, Маггид — трепетать.

Пришел повидать его один мистик, отказывавшийся от еды и сна, стремившийся к полному отречению от всего мирского. Первым делом Маггид велел своему сыну, рабби Аврааму, силой накормить его. Затем он приказал ему слово в слово повторять за ним ритуальное признание *Видуи*: «*Ашамну, багадну, газальну!*» — мы грешили, мы предавали, мы грабили. Гость упал в обморок. Когда он очнулся, Маггид отослал его, наказав никогда больше не допускать того, что произошло: иные слова столь же важны, как деяния — некоторые слова и есть деяния.

Другой посетитель, хасид, знаменитый ученый-талмудист, пришел просить его совета. Он боялся утратить веру. Маггид не стал вовлекать его в философские прения, а вместо этого попросил повторять вместе с ним снова и снова самую первую молитву, которую учит наизусть каждый еврейский ребенок. Вот и все,

«Однажды, — рассказывает нам рабби Вулф из Житомира, — мы все сидели в *Бет-Мидраш* вокруг стола. Было это в пятницу после обеда. Мы слышали, как за дверью Маггид читал *сидра*, — еженедельную часть Священного Писания, обычно читаемую по субботам. Вдруг он остановился, затем дверь распахнулась, и он возник перед нами — неподвижно застыв на пороге, пристально глядя не то на нас, не то на кого-то позади нас. Он весь пылал, пылало

его лицо и особенно — глаза. Рабби Пинхас, рабби Шмелке, рабби Элимелех и рабби Зуся в смятении выбежали на улицу, рабби Леви-Ицхак спрятался под стол, а я, охваченный странным ликованием, начал изо всех сил рукоплескать — и до сих пор горько раскаиваюсь в этом».

Знаете ли вы, как рабби Авраам Калискер сблизился с окружением Маггида? Годами он жил в одиночестве, отказываясь встречаться с людьми, дабы не отрываться от Торы. Однажды он услышал цитату из Маггидовой интерпретации: «*Умал'а ха-арец киньянеха*» — земля полна того, что позволяет человеку приобщиться к Богу. Этого оказалось достаточно... Рабби Авраам Калискер выскочил в ближайшее окно и поспешил в Межирич. Впоследствии он говорил знаменитому Виленскому Гаону: «Что я узнал в Межириче? Одну простую истину: *вз-хай ба-хем*. Тора дана человеку для того, чтобы он праздновал жизнь и возлюбил все то, что делает ее источником радости».

Великий Люблинский Ясновидец свидетельствует: «Однажды я слышал, как Маггид произнес: «*Эйн ке-элохей-ну*», — нет бога, подобного нашему Богу, последнюю молитву службы. В тот же миг небеса разверзлись, и я увидел ожившие слова: я увидел, что нет бога, подобного нашему Богу».

Однажды Маггид пригласил рабби Вулфа из Житомира произнести молитву после субботней трапезы. Потом он спросил рабби Вулфа: «Что ты почувствовал?» «Две руки, возложенные на мою голову», — ответил пораженный ученик. «То пророк Илия посвятил тебя в рабби», — сказал Маггид.

Что до Шнеура-Залмана — знаменитого автора «*Таньи*» и основателя Любавической школы, то он до небес превозносил безграничные знания Маггида, а не его сверхъестественные способности: «Чудеса? В Межириче? Да разве у кого-нибудь хватило времени увидеть их все?» Он восхищался другим: проникательным и изобретательным умом Маггида. Знаменитый ученый и философ, Шнеур-Залман твердо заявил: «Все, что я знаю — ничто по сравнению с тем, что знает он».

В то же время, мы располагаем свидетельством еще одного великого хасида — таинственного Лейба, сына Са-

ры, — который везде и всюду провозглашал: «Я пришел к Маггиду не слушать рассуждения, не вкушать от его мудрости. Я пришел посмотреть, как он завязывает шнурки на ботинках».

В хасидском лексиконе Великим Маггидом называют именно Маггида из Межирича. Что сделало его великим? Мы остановимся на этом позже. Пока отметим, что мерой величия некоторых учителей являются люди, ими вдохновленные. Те, кто составлял «двор» Маггида, сами были первостепенными личностями. То, что они избрали его лидером, доказывает, что, занимая равное с ним положение, они верили в его превосходство.

Он согласился стать руководителем только после формальных выборов. Существуют три версии этого события.

Вот первая: это случилось во второй день *Шавуот* и в первую годовщину со дня смерти Баал-Шема. Все святое собрание, состоящее из его учеников, уселось вокруг стола под председательством рабби Гирша, последнего сына Баал-Шема. Вдруг рабби Гирш поднялся, снял свой белый кафтан и окутал им плечи Маггида, приговаривая: «*Мазл тов, мазл тов*, поздравляю». На миг наступило недоуменное молчание, а затем все присутствующие восторженно подхватили: «*Мазл тов, мазл тов*, пусть наш новый вождь живет под счастливой звездой».

Вторая версия: незадолго до смерти Баал-Шем сказал своим последователям — тот, кто научит других, как победить гордыню, станет его преемником. Задача была поставлена перед всеми, и случилось так, что Маггида вызвали первым. Его ответ гласил: так как гордость — один из атрибутов Божества, человек не может сразу и всецело искоренить ее. С ней надо бороться денно и нощно. Этот ответ был принят столь благосклонно, что никто больше не был опрошен.

Третья версия наиболее поэтична, поскольку исключает непосредственное участие Баал-Шема и решение принимают сами ученики. Они условились: тот, кто обнаружит что-нибудь новое в жизни покойного Учителя, его работе или учении, станет преемником Баал-Шема. Каждый рассказывал все, что знал, истории, цитаты сыпались одна за другой. Когда пришла очередь Маггида, он поведал, что

каждую пятницу, перед субботой, Баал-Шем-Тов покидал свое тело, меняя его на новое. «Я собственными глазами видел, как он это делает», — добавил Маггид. Он был единственным очевидцем этого.

Позже было создано много легенд, подчеркивающих превосходство Маггида над его товарищами, ибо Маггид был любимым учеником Учителя. Существует предание: однажды Учитель сказал ему: «Я нуждаюсь в тебе. Благословен источник или нет, зависит от человека, черпающего из него».

В другой раз случайно услышали слова Бешта: «Если бы только Дов-Бер мог пойти в *микве*, он привел бы Мессию». Но будучи постоянно больным, он не мог ходить в ритуальную купальню.

Между Учителем и учеником существовала такая тесная связь, что после того, как Баал-Шем дал Маггиду свое благословение, он попросил ученика благословить его самого.

Хасидские историки сообщают нам, что два эти человека встретились около 1752 года, за восемь лет до смерти Баал-Шема. Утверждают, что Маггид посещал Баал-Шема дважды, второй визит — более длительный — продолжался 6 месяцев. Почему эти люди так быстро и так близко сошлись? Никто не знает. Оба, и Учитель и ученик, владели *кфицат ха-дерех*, тайной «сжатия времени». Однако считал ли Баал-Шем Маггида своим преемником, так и не установлено.

В действительности у Баал-Шема было по крайней мере два других ученика, сравнимых по значительности с Маггидом. Пинхас из Кореца и Яков-Йосеф из Полонного. Первый известен как мудрец, «мозг» хасидизма, второй — как его первый летописец и историк.

Рабби Пинхас, бесконечно скромный человек, никогда не претендовал на престол. Рабби Яков-Йосеф сделал такую попытку. Похоже, поначалу рабби Пинхас даже поддержал его против Маггида.

Яков-Йосеф был известен своей безграничной преданностью Баал-Шему. Практически он никогда не покидал его, довольствуясь пребыванием в тени Учителя. Его работы в области хасидизма являются первыми трудами такого

рода. Тридцать лет он корпел над ними, и имя Баал-Шема упоминается в них 280 раз. Он справедливо считал себя любимым писцом Учителя. Однажды — и тому были свидетели — Бешт воскликнул: «Владыка небесный, когда я умру, я попрошу награду не за свои добрые дела, а только за то, что привел к Тебе моего Йоселе».

Почему же тогда Яков-Йосеф не стал преемником? Это неясно. Возможно, он был слишком скованным и малообщительным человеком. Его отношения с другими людьми, особенно с руководителями, отличались неловкостью и неуклюжестью. Ревнивый от природы, он, вероятно, выходил из себя при виде тех, кто претендует на близость к Учителю, считал, по-видимому, что никто, кроме него, не способен понять Баал-Шема. И наконец, большинство хасидов считало его чересчур интеллектуальным. По мнению этого большинства, книжники должны были заниматься своим делом в тиши, не вмешиваясь в общественную жизнь, где поступки имеют большее значение, чем размышления.

Яков-Йосеф тяжело перенес свое поражение. Ему было горько чувствовать, что коллеги отвергли, не поняли его, обошлись с ним несправедливо.

Пинхас их Кореца как мог утешал друга. Он рассказал ему притчу: «Когда король ложится спать, корона его висит на гвозде, вбитом в стену. Почему висит она на гвозде, на простом жалком гвозде, а не покоится на голове первого министра? Да потому, что министр, чего доброго, мог бы принять все это всерьез и вообразить себя королем, а гвоздю такая опасность не угрожает».

Похоже, собеседнику чувства юмора не хватало, ибо притча его не утешила. Отношения Якова-Йосефа с Маггидом и его последователями испортились до такой степени, что он отказался разделять с ними субботнюю трапезу. Он оставался дома и ел в одиночестве. Горечь стала нестерпимой, когда он узнал, что... его книги не продаются. Рассказывают следующее: узнав, что на его книги не нашлось в Бердичеве ни одного покупателя, Яков-Йосеф впал в ярость, угрожая проклясть город. Чтобы умиротворить его, рабби Вулф из Житомира срочно отправил гонца с поручением закупить сто экземпляров. Город был спасен.

Безотносительно к тому, правдой или выдумкой является эта история, она отражает судьбу человека, а не его трудов. Труды же Яакова-Йосефа с самого начала легли в основу движения. Возможно, предпочтение было отдано Маггиду, а не ему, поскольку хасидизм уже тогда отдавал предпочтение устному слову перед написанным, опыту перед чистым знанием и людям перед книгами.

Яаков-Йосеф учил. Маггид — вдохновлял. Однако в намерения Маггида входило не только вдохновить своих учеников, но воспитать из них духовных наставников. При жизни Баал-Шема хасидизм воплощался в одном человеке. Настало время воплотить его в движении. В централизованном, согласованном, упорядоченном движении со своими целями и правилами, дисциплиной и прерогативами.

За несколько (точнее, за двенадцать) лет Маггид, прекрасный организатор и администратор, соткал сеть, покрывшую всю Восточную Европу. Благодаря ему огонь, зажженный Баал-Шемом, добрался до самых разоренных и удаленных общин — больших и малых. Он точно знал, кого, куда и с какой миссией послать; ничто не ускользало от него, ничего не оставлял он на волю случая.

У него были основания командировать Аарона из Карлина в Литву, а Элимелеха из Лизенска в Галицию. Каждый мог преуспеть только там, куда его отправили, взаимозаменяемыми они не были.

Разделив Центральную Европу на более или менее ограниченные области, Маггид в каждую назначил рабби, обязанного заложить основы хасидизма в этом месте.

Какие же средства имелись в их распоряжении? Несколько историй, несколько мелодий и непоколебимая вера в правоту Баал-Шема. И везде они находили людей, которые хотели слушать и присоединяться. Эти рабби, эти эмиссары не знали преград. Они преодолевали громоздящиеся горы и глубочайшие долины: ничто не могло их остановить, и уходя, они никогда не ощущали, будто сеют впустую.

Рабби Менахем-Мендла из Витебска спросили, чего он достиг в Витебске. Он ответил: «Явившись туда, я нашел разодранные одежды и нетронутые сердца. Теперь наоборот».

В других краях, где-нибудь среди нищих общин Галиции, Маггид хотел принести надежду и утешение людям,

живущим в отчаянии и унижении; расстроить укоренившийся порядок, растормошить официальные институты, разрушить барьеры, разделяющие бедных и богатых, ученых и ремесленников, городских и деревенских жителей. И, главное, показать, что еврейство — это и преемственность, и вера в новое.

Идея хасидизма, вызванная к жизни Баал-Шемом, нашла практическое применение благодаря Маггиду. До него она оставалась неясной, фрагментарной, импульсивной. Отвлеченность и предельная возвышенность делали ее уязвимой. Нужно было защитить и подкрепить самое ее сердцевины, нужно было заключить ее в рамки, которые бы ее поддерживали и очертили бы контуры расширяющегося движения. Но главное, следовало укоренить ее в реальности.

Кто это сделает? Цадик. Рабби. Праведник. Учитель. И снова Маггид превращает туманную концепцию Баал-Шема в жизнеспособную доктрину. По его представлению, цадик обязан совмещать в себе добродетели и дарования, быть одновременно святым, руководителем, мудрецом и исполнять обязанности, связанные со всеми этими качествами. Быть посредником Божиим в Его общении с людьми и заступником за человека перед Богом. От него требовалось быть почти сверхчеловеком. Ожидалось, что он будет культивировать чувство собственного достоинства, не переходящее в гордыню, возбуждать гнев, не поддаваясь ему, добиваться недостижимых целей, брать на себя полную ответственность за возможные последствия и конфликт. Цадик должен был обладать ораторским даром, дабы лучше хранить молчание, и искусством молчания, дабы лучше говорить.

Акцентируя роль цадика, устанавливая для него почти недостижимые образцы, Маггид, в отличие от своего предшественника, ориентировался более на элиту, на свое ближайшее окружение, нежели на заурядных хасидов. Круг же его близких был исключительно замкнут. Желание попасть в него, все попытки сподобиться этой чести не имели никакого значения. Быть достойным тоже мало что значило. Маггид выбирал учеников сам, согласно одному ему ведомым критериям. Такой мыслитель, как Шнеур-Залман, и такой простодушный человек, как Лейб, сын Сары, жили,

на первый взгляд, в двух совершенно различных мирах. Тем не менее каждый из них достиг в своей области высокого совершенства и славы. То же можно сказать об остальных; каждый занимал строго определенное место в иерархии Маггида. Легенда рассказывает о единственном исключении: на редкость талантливый последователь Маггида добился того, что его впустили в это общество, но слишком рано узнав слишком много тайн, он пристрастился к выпивке, а потом, ко всеобщему изумлению, стал браниться, бахвалиться и нести всякую ахинею... Хасидские летописцы упоминают о нем крайне редко и сдержанно. Они явно стыдятся признать, что один из самых блестящих учеников великого Маггида мог кончить так скверно. Все остальные ученики оказались под стать Учителю — они сделались рьяными и неутомимыми проповедниками. Приверженцы Маггида несли с собой мечту и безудержное хасидское веселье, странствовали из страны в страну, от деревни к деревне, от общины к общине, созидавая царство, где принц умел рассказывать, умел петь и приучать к пению других.

Все это заставляло цадика вести двойное существование, действуя сразу на двух уровнях: служить для прочих примером, вызывать у них восхищение, но не желание поравняться; оставаться открытым для людей и сохранять одновременно тайную и недосыгаемую связь с мирозданием.

Причина понятна. Чтобы простой человек мог вынести все беды прошлого, настоящего и будущего, чтобы неискушенный ум мог воспринять, пусть неосознанно, не желая того, боль и загадки, мог справиться с повседневной тоской и житейскими тяготами, требовался вестник нового, достаточно ему знакомый, чтобы быть понятным, и вместе с тем достаточно чуждый, чтобы говорить о тайне, о неизвестном, о спасении. Нужны были люди, внушающие доверие; пусть проблему нельзя было решить в одиночку, зато оставалась надежда. Раз цадик, по определению, знает, значит ответ существует, значит и испытания и невзгоды осмысленны, а не бессмысленны; они оставляют отпечаток в бессмертной коллективной памяти. И в этом — другая задача цадика: он учит хасида никогда не считать себя ненужным, покинутым существом, отвергнутым тем миром, которого он не понимает.

Таким образом, деятельность Маггида отвечала потребности, особенно насущной во многих глухих районах Польши, Украины, Румынии, Венгрии, Австрии и Белоруссии. Эти изолированные общины его школа снабдила руководителями. Благодаря ему еврей знал теперь, к кому обратиться в минуту горя и отчаяния — к цадику; к цадику, сознающему, какой неограниченной властью он наделен в видимом и невидимом настоящем, чтобы осуществить свою миссию. Если душа его не будет свободной, разве сумеет он повлиять на другие души? И если собственная судьба ускользнет от него, посмеет ли он влиять на судьбы других? Маггид толковал талмудическое изречение «*Веда малемала мимха*» следующим образом: *веда* — знает, что — *ма*, *лемала* — там наверху, *мимха* — в равной мере происходит от вас. Ты — начало любого события, его источник. Это через твою волю Бог проявляет Себя!

Говорят, однажды Маггид решил — настало время покончить с изгнанием евреев из Эрец-Исраэль. Решение это вызвало тревогу на небесах. Спросили его: «Да кто ты, собственно, такой, что отваживаешься вмешиваться в Божественный порядок?» «Я *цадик ха-дор*, праведник этого поколения», — ответил он. — «Ты? Докажи это». — «Хорошо, мои ученики представят доказательства». И собрав учеников, он спросил их напрямик: «Праведник я этого поколения или нет?» Ошеломленные ученики хранили молчание. Маггид повторил вопрос — никто не проронил ни слова. Он спросил их в третий раз — и снова молчание было ему ответом. Этот непонятный отказ по сей день остается необъяснимым. Неясно, почему эти слепо преданные Маггиду люди отказались в критический момент поддержать Учителя. Известно только, что в отличие от своего предшественника, он никогда не предпринимал второй подобной попытки. И написано было, что Мессия останется с ангелами на много и много грядущих лет. Людям придется ждать.

Похоже, его давний соперник рабби Пинхас из Кореца имел в виду именно этот эпизод, когда сказал: «Если б я захотел, то вызвать Мессию мне было бы так же легко, как поднять соломинку. Я, однако, предпочитаю довериться Богу».

Маггид стремился развить у своих учеников чувство уверенности в собственных силах; в противном случае они не

могли бы надлежащим образом выполнять свои обязанности рабби. Вопиющее проявление гордыни? Возможно. Но раз уж человек вообще, а праведник в особенности создан по образу и подобию Бога, он может и должен при некоторых обстоятельствах присваивать себе тот или другой Его атрибут. «У-милъбашто анава» (Божий покров — смирение) — это изречение так истолковали в Межириче: если смирение подобно покрову, то человек обязан снимать его.

И все же, чтобы сбалансировать опасность, таящуюся в подобной концепции праведности, Маггид часто подчеркивал важность смирения в качестве основной добродетели. Только смиренный человек в состоянии вынашивать честолюбивые замыслы, граничащие с тщеславием. Грань между гордостью и тщеславием тонка, а на карту поставлено многое. Он сказал: «Вы можете соблюдать каждую заповедь Торы, вы можете очищаться и совершенствоваться, исполняя все предписания, но если в последний миг в ваше сознание проникнет одна-единственная тщеславная мысль, значит, все было напрасно. Можете сунуть все ваши добрые дела, все ваши достойные намерения в дорожный сундук и швырнуть его в Ад».

Борьба с гордыней, по-видимому, была важнейшей задачей Маггида и его школы. О ней столько говорилось, что задаешься вопросом, придавалось ли остальным грехам хоть какое-нибудь значение.

Некий противник движения, обсуждая эту тему с рабби Вулфом из Житомира, с недоумением заметил: «У меня, знаете ли, затруднения с зятем. Со времени своей Межирической авантюры он только и рассказывает о том, как борется с гордыней. Я не понимаю, чем, собственно, он может гордиться? Ничего не делает, ничего не имеет и ничего не знает. Я вот учился у Виленского Гаона, знаю пол-Талмуда наизусть, щедр к нуждающимся, посещаю службу три раза в день и веду праведную жизнь. И все же — взгляните на меня: разве похоже, что мне надо смирять гордыню?»

Диалог между Элимелехом из Лизенска и его братом Зусей из Аниполи: где и как человеку начинать служить Богу?

— Очень просто, — сказал Элимелех, — если он начнет с осознания своей малости и незначительности, он оценит величие Бога.

— Что?! — воскликнул Зуся. — Чтоб человек начал с себя? Какая самонадеянность! Пусть вместо этого воззрится он на Господне величие, и тогда ему останется лишь осознать, насколько сам он ничтожен!

Убедить друг друга им не удалось, и они пошли к Маггиду, чтобы тот рассудил их. «По существу, правы вы оба, — сказал Маггид, — верны обе точки зрения. Тем не менее надежнее начинать поиск, зная свои возможности, а значит — с самого себя. Лежащему на земле падать некуда».

По другому поводу Маггид заметил: «Пусть тот, кто взыскует жара душевного, не ищет его на горных вершинах — он найдет там только ледянящие ветра. Пусть лучше нагнется и поищет среди пепла».

Он, несомненно, отличался здравым смыслом. Его наставления включают практические советы и указания, которые могли бы быть опубликованы под заголовком «Почувствия рабби». Он был старательным педагогом: своих последователей учил даже искусству публичных выступлений. Вот его совет: «Всякий раз, когда произносишь речь, остановись, не дойдя до самого конца». И еще: «Помните, хороший проповедник сливается в одно целое не со своей аудиторией, а со своими словами. В тот момент, когда он услышит себя со стороны, пора заканчивать».

Рабби Зусе он посоветовал: «Слушай, я не могу научить тебя десяти важнейшим правилам, тем, что определяют поведение человека, жаждущего служить Создателю своему. Однако существуют три вещи, которым ты можешь научиться у ребенка, и семь — которым ты можешь научиться у вора. У ребенка научись смеяться, плакать и постоянно быть занятым. У вора? Во-первых: все, что он делает, — он делает втайне. Второе: чего он не добился сегодня — постарается добиться завтра. Третье: он верен сообщникам. Четвертое: он готов пожертвовать собой ради цели, даже в том случае, если другие не придают ей значения. Пятое: когда вождельный предмет становится его собственнос-

тью, он теряет к нему интерес. Шестое: он не боится трудностей. Седьмое: ничто на свете не может заставить его свернуть с избранного пути — другими словами, он не хочет быть никем иным, кроме как самим собой».

Хотя Маггид и обладал чувством юмора, проявлял он его довольно редко. Серьезный до торжественности, озабоченный теми представлениями, которые складываются у других, он не поощрял ни отступлений от формальностей, ни развлечений.

Позволительным он считал только необходимое. Люди приходили издалека, чтобы услышать от него одно-единственное слово, дающее пищу для длительных размышлений, или же просто хотели провести субботу под его крышей.

Среди паломников оказался и Соломон Маймон, известный философ, друг Канта и Мендельсона. У него была своя причина: он вознамерился увидеть и оценить Маггида. Маггид отказался принять его, и обиженному философу пришлось ждать до конца недели, пока его не допустили к Учителю. Маймон рассказывает нам: «Было время первой субботней трапезы... Все вокруг сияло белизной... Маггид в белом... Даже его табакерка была белой... Вокруг стола распевали ученики. Он велел каждому прочесть стих из того библейского отрывка, который предстояло произнести на следующий день. Потом Маггид вплел эти цитаты в беседу, и каждый из учеников уверился, что Учитель разговаривает с ним одним».

Атмосфера в Межириче была напряженной и наэлектризованной. Люди жили на грани нервного истощения; даже подумать о том, чтобы как-то отвлечься, считалось кощунством. Маггида боялись, а именно этого он и хотел.

Однажды в *Йом-Кипур*, гласит легенда, Маггид, в ту пору еще проживавший в Меджибоже, нечаянно коснулся каймы ритуального покрывала, окутывавшего Баал-Шема. Неудержимая дрожь охватила его. Он прислонился к столу — и стол задрожал тоже.

Его ученикам, чтобы трепетать, не нужно было к нему прикасаться. Им достаточно было видеть его — даже издали.

Он никогда не смеялся. Но иногда улыбался.

Один очень набожный и очень состоятельный еврей хотел поразить его своим аскетизмом. «Скажи мне, что ты ешь каждый день?» — осведомился Маггид. «О, почти ничего: черный хлеб с солью — вся моя еда». «Плохо, — сказал Маггид, — очень плохо. Я приказываю тебе есть булки и пирожные, а также пить сладкое вино». «Но почему, рабби?» — вскричал изумленный хасид. «Я объясню тебе, почему. Видишь ли, если ты будешь довольствоваться черным хлебом и водой, то придешь к выводу, что бедняк может жить, питаясь камнями и росой. Но если ты будешь есть пирожные, то дашь беднякам хлеб».

Другой анекдот: знаменитый врач, лейб-медик при Прусском королевском дворе, предложил ему сделку: «Я исцелю твое тело, если ты исцелишь мою душу». «По рукам, — сказал Маггид, — посмотрим, кому повезет». Если верить легенде, врач стал хасидом, а Маггид остался неизлечимо больным.

И наконец, еще одна история. Как-то арендатор и его жена упрашивали Маггида помолиться за них: «Мы бездетны и хотим сына». «Хорошо, — ответил он, — это обойдется вам в пятьдесят два рубля». 52 — это цифровое значение слова *бен* (на иврите — сын). Пара стала торговаться, предлагая половину. Бесполезно. Маггид даже не пошевелился: «Вы хотите, чтобы я молился за вас? Так платите деньги». В конце концов, крестьянин, разозлившись, повернулся к жене и сказал: «Пошли домой. Обойдемся без него. Помолимся сами, и Бог поможет нам бесплатно». — «Быть по сему», — сказал Маггид и улыбнулся.

Баал-Шем говорил:

«Иногда кажется, что Бог очень далек от человека — почему?»

Долг отца — научить сына ходить. Для этого он отдаляется без предупреждения, хотя и рискует, что ребенок споткнется и упадет».

У Дов-Бера был свой взгляд на эту проблему: «Бог, в Своей безграничной любви, сдерживает Свой свет, дабы человек мог подняться шаг за шагом, ступень за ступенью к постижению»

запредельного. Это способ, посредством которого отец учит сына ходить».

В чем же кроется величие Великого Маггида из Межирича? И почему его и поныне так называют? Он не оставил ни работ, исполненных талмудической эрудиции, ни этической системы, ни новой философии. Все, что нам известно о его огромной личности, о его способностях, интуиции, пронизательности и сложном характере — мы знаем от последователей Маггида, и приходится верить им на слово. Более того, тщательный анализ идей, приписываемых ему, показывает, что в основном он отстаивал, и успешно, теории Баал-Шема, так называемый Бештианский хасидизм.

Его взгляды на *цимцум ха-элохут* — самоограничение Божества как условие рождения и развития мира — заимствованы у Баал-Шема, который, в свою очередь, почерпнул их из Лурианской каббалы. То же относится к его концепции вездесущести Шхины — даже в зле и несчастьях. *«Лет атар пануй миней, — провозглашал Баал-Шем. — Бог пребывает повсюду — даже в грехе — и уж несомненно, в грешнике».*

Признаюсь, чем больше узнает живущий во мне ребенок, тем в большее замешательство приводит его Великий Маггид.

Теоретические достижения Маггида не слишком весомы. Его попытки разрешения метафизических проблем — связи между человеком и Богом, между человеком и человеком, связи человека с самим собой — не отмечены ни эпохальными открытиями, ни нетрадиционным подходом. Что бы он ни излагал, Баал-Шем уже высказал это до него, прямо или косвенно: плач жертв и смех палача, социальная несправедливость, слабость бедняка и высокомерие богача, пределы восприятия, зачарованное бесконечностью одиночество человека, противопоставленное Божественному одиночеству, внутреннее родство Добра и Зла, ощущение общности между видением смерти и видением ее победителя. Эти проблемы не давали покоя Баал-Шему подобно тому, как они тревожили тех, от кого, согласно его утверждениям, он их унаследовал. Даже нормы социального поведения, которые Маггид предписывал Учителю,

восходят к Баал-Шему. Вообще, Маггид выглядит скорее преемником, чем новатором.

На самом деле не только слава Баал-Шема превосходила славу Маггида — ученики затмевали последнего в его же собственной сфере. Шнеур-Залман превзошел его в вопросах Галахи и умозрительной философии; Леви-Ицхак из Бердичева — в любви к народу Израиля и каждому еврею в отдельности; Шмелке из Никольсбурга — в талмудической учености; Зуся из Аниполи — в кротости и смирении и Аарон из Карлина — в риторике. Вероятно, и Маггид отдавал себе в этом отчет. Бывало, он рассуждал вслух: «Чем я согрешил, что стал рабби? И к тому же знаменитым?» Иногда он присовокуплял: «Своим врагам я пожелал бы этого...» Чем объяснить его влияние на сподвижников и учеников? Его многогранностью? Или же его болезненностью? Или тем впечатлением, которое складывалось у других о нем как о человеке, владеющем многими ключами ко многим вратам? Или тем, что он носил блистающую корону первого Учителя?

А может, надобно приглядеться к его ученикам внимательнее, нежели к нему самому, чтобы выяснить причины и специфику величия Маггида. Они нуждались в руководителе, в рабби, чтобы побороть свои сомнения, свое одиночество. Межирич был для них тем, чем Меджибож был для Маггида: прибежищем, стабильностью, присутствием Учителя. После Межирича они знали, что дорога начинается где-то не здесь и ведет в места иные. Те же мотивы, которые привели Маггида к Баал-Шему, связали Маггида с его собственными учениками. Чем значительнее они были, тем глубже были их внутреннее одиночество и потребность опереться на кого-нибудь, кто защитил бы их от чрезмерной гордости и преувеличенного смирения. Они приходили в Межирич столько же в поисках человеческого контакта, сколько в поисках знаний. Они желали сплотиться в духовное братство, почувствовать, что другие разделяют их жажду, даже если способы ее утоления не всегда были одинаковы. И еще они страстно желали подтверждения своего участия в прекрасном, радостном приключении, которое еще теснее сплачивало их. Находиться в Межириче — значило не только находиться вместе с Маггидом, но также жить с товарищами, друзьями и союзниками.

Они чувствовали, что самосовершенствование достигается только при помощи других. Это — основополагающая идея хасидизма. С того момента, как они осознали, что путь к Богу лежит через человека, и человек — единственная связь между Богом и Его творением, ключ к Его тайне, — дорога повела их через Межирич. Маггид стал символом индивидуального и коллективного поиска. Сам он заметил о своих учениках: «Я нашел свет запертым в чулане. Все, что я сделал, — это открыл дверь».

Являлось ли это его единственной заслугой? Тем единственным, что давало право на славу? Конечно, нет.

Он был велик потому, что *осмелился* наследовать Баал-Шему. Он не мог не знать, что его неминуемо будут сравнивать с Баал-Шемом и что он неизбежно окажется в проигрыше.

Он был велик, ибо понял важность *передачи по наследству* учений и открытий. Он рассматривал свою роль как роль человека, устанавливающего связи, считая себя в большей мере исполнителем, чем новатором. Не пытаясь основать новое движение, он использовал свои таланты для укрепления того, которое унаследовал.

И наконец, он был велик, ибо предвидел необходимость воспитания духовных лидеров множества изолированных и заброшенных общин. Возможно, он интуитивно знал, что европейское еврейство начинает длинный и кровавый путь, и в пути этом ему понадобятся вся помощь и поддержка, какую оно только сможет получить.

Явление одновременно редкостное и (по отношению к Маггиду), возможно, более показательное, чем любое другое: когда его ученики в свой черед становились Учителями, Маггид не испытывал зависти ни к ним, ни к их славе, ни к их достижениям.

Никогда он не укорял их за поиски новых путей: он хотел, чтобы они были разными. Тридцать девять учеников не походили ни на него, ни друг на друга. Каждый проявлял настойчивость в основании собственной династии, школы, отмеченной его собственной печатью, выражающей его собственные взгляды на судьбу человечества в целом и народа Израиля, в частности. Значительно больше, чем держать их в зависимости от себя, желал он, чтобы

они правили во имя его. Он, Маггид из Межирича, наследник Баал-Шема, служил связующим звеном между ними.

Однако он не был похож на Баал-Шема, и это — другой ключ к разгадке тайны величия Маггида. Сменив Учителя, он не пытался ни соперничать с ним, ни подражать ему. У него был свой индивидуальный стиль жизни, свой индивидуальный способ общения с людьми. Никто не решался бы столь круто и безоговорочно отклониться от пути Учителя. Большинство, вероятно, стремилось бы достичь полного отождествления с основателем движения, следуя его заветам и, по возможности, копируя образ его жизни. Сделай это Маггид, он стал бы вторым, мелким Баал-Шемом, то есть более или менее удачной имитацией. Маггид отверг легкие решения и избрал иную дорогу. Таков был его способ почтить труд Учителя. Он понял: чтобы остаться верным Учителю — необходима причудливая смесь отваги и преданности, позволяющая сойти с проложенного им пути.

Его «отклонение» было синтезом преемственности и новаторства, хотя он никогда не превращался в раскольника. Обязанностью Маггида перед самим собой, не перед основателем хасидизма, было сохранение живого образа Баал-Шема, его легенды и наследия.

Итак, Межирич не стал новым Меджибожем. В отличие от Баал-Шема, Великий Маггид редко покидал дом, избегал толпы. Баал-Шем постоянно пребывал в движении, всегда и везде проявлял интерес к самым разным людям; Маггид обращался лишь к нескольким избранным. Баал-Шем рассказывал истории; Маггид произносил речи. Баал-Шем отправлял службу с толпой, — чем больше народу, тем радостнее он становился; Маггид молился один, и только в конце службы девять привилегированных учеников приглашались, чтобы составить с ним *миньян*.

Баал-Шем был доступен и всегда готов помочь. Каждый мог прийти и увидеть его, не нуждаясь в посредниках. Маггид не таков. Он первый назначил габая, или шамаша (секретаря, слугу, стража), чтобы оградить себя от незваных гостей.

Видимо, Маггид в большей степени, чем его Учитель, имел влечение к театральным эффектам. Баал-Шем страствовал одетый то как кучер или крестьянин, то как плот-

ник или бродяга. Маггид считал, что выглядеть надо иначе. Он усвоил роль верховного священнослужителя и обычно надевал белую ниспадающую мантию — символ занимаемой должности. Он внушал уважение, Баал-Шем — любовь.

К концу жизни Маггид пользовался костылями, его впечатляющая внешность стала внушать благоговейный страх. Болезнь воздвигла еще один барьер между ним и внешним миром.

Затем произошла странная вещь. Нежданно и без всяких объяснений Маггид решил переехать из Межирича в Аніполь. Почему? Причины неясны. Мало говорится о переезде и в хасидской литературе. Был ли он вызван все более и более злобными нападками его противников? Возможно. Но если это и ответ, то неполный. Решение о переезде не разрешило вконец обострившегося конфликта. География не имела отношения к войне фанатичных хасидов с такими же фанатичными митнагедами.

(Кроме того, нападкам подвергались в основном его ученики, а не сам Маггид. Задача этих последователей-проповедников была нелегкой. И религиозные, и светские лидеры иудаизма считали их реформаторами, если не отъявленными еретиками. Они подвергались оскорблениям, унижениям, особенно в важных общинных центрах Украины и Белоруссии. Но чем больше их преследовали, тем больше сторонников они приобретали.)

Чем же все-таки объяснить отъезд Маггида? Возможно, он осознал, что труд его завершен: ученики, влиятельные рабби и известные цадики в нем теперь не нуждались. Утратив иллюзии, безнадежно больной, он мог почувствовать себя отвергнутым и ненужным.

А может быть, он тосковал по одиночеству. Посвятив жизнь другим, пожелал уйти в себя, чтобы присмотреться к переменам, происшедшим в нем самом за то время, пока он менял представление стольких евреев об их месте в обществе.

Еще одно предположение: возможно, этот наделенный тонкой интуицией человек предчувствовал грядущее разочарование: хасидизм, возникший как оппозиционное движение, уже начал превращаться в новое официальное учреждение...

Каковы бы ни были мотивы, переезд, состоявшийся в 1772 году, кажется, не слишком глубоко затронул хасидский мир. Правда, более драматические события отметили этот достопамятный год. Польша была рассечена и поделена между Германией, Австрией и Россией. Этот раздел принес евреям много страданий. Когда народы дерутся, расплачиваться чаще всего приходится евреям.

В этом же году первая хасидская книга — «Толдот», написанная рабби Яковом-Йосефом из Полонного, увидела свет и в этом же году была публично сожжена. В этом же 1772 году противники хасидов — митнагеды — уговорили авторитетного Элиягу, Виленского Гаона, отлучить хасидов. Хасидские лидеры подумывали о переходе в контрнаступление, об ответном отлучении. Маггид воздержался: он не хотел усугублять раскол. Лучше терпеть и ждать. Но антихасидские мероприятия умножились и становились нестерпимыми, особенно в Литве. Хасидов преследовали так, словно они были вне закона. И тогда, в одну незабываемую ночь, десять последователей Маггида собрались в *Бет-Мидраш* и при жутком свете черных свечей произнесли торжественное и страшное заклинание, которым по традиции изгоняют врагов из общины Израиля. Внезапно посреди церемонии послышался приближающийся хорошо всем знакомый стук костылей: Маггид. Скорбный и разгневанный, стоял он перед ними. «Вы потеряли голову», — вот все, что он сказал. Недвижные, охваченные раскаянием, остались они у стола, осознав полный смысл его слов, прозвучавших, как приговор: они потеряли своего главу, своего Учителя, он собирался покинуть их. Навсегда. Некоторое время спустя он утешил их: «Я обещаю, что в спорах хасидов и митнагедов побеждать будут всегда хасиды».

Когда несколькими месяцами позже он умирал, шел сильный снег. Пурга яростно бушевала над деревней, словно хотела смести ее с лица земли. Маггид лежал, закутанный в ритуальное покрывало, с филиakterиями на лбу и на левой руке. Вокруг толпились близкие. Последние слова слетели с его уст: «Держитесь вместе, будьте всегда вместе, всегда».

Этому завету они, однако, не последовали. И все же истории его остались, и через них мы приобщаемся к ученикам Маггида, а через учеников — к самому Маггиду и

Баал-Шему, и благодаря всем им мы приобщаемся к самым высоким движениям еврейской души и еврейского воображения.

Без них наша история оказалась бы беднее, намного беднее. В ней не было бы ни мечты, ни ностальгической легенды.

УЧЕНИКИ

«Только Ты, Господи, знаешь, почему иногда я ставлю себя впереди, а иногда — позади других!» — воскликнул однажды рабби Барух из Меджибожа.

Этот внук Баал-Шема, воспитанный Маггидом из Межирича и обученный рабби Пинхасом из Кореца, человек гордый, вспыльчивый, а порой впадавший в глубокое уныние, претендовал на особый статус среди других хасидских учителей своего поколения. Так оно и было. Рассматривая себя как наследника — наследника не рабби Гирша, отца, незаметно прошедшего по жизни, а деда, — он считал, что ему принадлежит все. Действительно ли он верил, что является единственным, законным преемником Баал-Шема? Возможно. Ибо для него каждый рабби был потенциальным соперником и узурпатором.

Это открытое высокомерие, конечно, причинило ему много неприятностей и возбуждало враждебность. Его собственные шурины жаловались на капризы и легкомыслие Баруха и дошли до того, что обвинили его перед лицом Великого Маггида, чей внук скажет позднее: «Рабби Барух из Меджибожа взбирался к небесам, ступая по головам остальных цадииков».

Он вечно был недоволен, недоверчив, мнителен, жаловался на всех и вся. Но люди прощали ему резкости, внезапную смену настроений. Посетители, даже если он их оскорблял и поносил, были счастливы. Мальчику, случайно заставшему его во время семейной сцены, он сказал: «Молчи, ты ничего не понимаешь. То, чему свидетелем ты был, — спор между Богом и Шхиной». Легенда простила его. Больше того: поставила на почетное место, прозвав Баруха «Учителем Учителей».

Ко времени смерти Баал-Шема ему исполнилось всего три года, однако дед произвел на него неизгладимое впе-

чтление. Барух хотел во всем походить на него, хотел сравняться с Бештом. Ощущая свою несостоятельность, он часто предавался унынию и меланхолии. Хотя он отчаянно им противился, сомнения его терзали постоянно. Как знать, благоговеют ли хасиды перед ним самим или перед памятью его деда? Чтобы отвлечься, утешиться, он прибегал к услугам знаменитого остряка Гершеле Острополера. Этот Гершеле, преданный и бесстыдно дерзкий, стал единственным человеком, который говорил ему правду в глаза.

Вот такая история: однажды вечером Гершеле зажег свечу, но рабби Барух сделал ему выговор: что толку, в комнате слишком темно. На следующий вечер Гершеле зажег дюжину свечей. И опять рабби Барух отчитал его: «Ты что, ослепить меня хочешь?» «Не пойму я вас, — сказал Гершеле, — вчера ему, видите ли, было чересчур темно, сегодня светло...» Барух расхохотался: «Это ты, ты берешься учить меня, рабби Баруха, когда и каким образом должен я сменить гнев на милость!»

«Этот мир, — сказал он, — наполнен светом для каждого, кто его знает, но окутан тьмой для тех, кто сбился с пути... Что до меня, то я живу в нем, словно посторонний. Как и Господь. И связывает нас то, что мы оба чужие во враждебном мире».

По другому поводу он заметил: «Вообразите себе двух детей, играющих в прятки. Один прячется — но другой его не ищет. Прячется Бог, а человек не ищет Его. Представьте же, как Он страдает».

«В чем состоит величайшая заслуга пророка Илии? — сказал он. — Когда он боролся с царями и сокрушал идолов, люди не принимали это за чудо, а кричали: «Господь — Бог наш!»

Одна из притч рабби Баруха: «Чтобы постичь истину, человек должен пройти сорок девять ворот — и за каждым встает новый вопрос, и в конце пути перед последними воротами встает последний вопрос, после которого нельзя жить без веры».

Он умер в сорок четыре года. У его изголовья была открыта книга «*Зохар*» на странице, где упоминается «гнев, снискавший благословение вверху и внизу», и имя его Барух.

Менахем-Мендл из Витебска — единственный ученик Маггида из Межирича, которому довелось встретиться с Баал-Шемом. Сам Маггид представил его Бешту. Менахем-Мендлу в то время было одиннадцать лет, и он уже снискал славу блистательного талмудиста.

Баал-Шем, окруженный своими последователями, пристально взглянул на мальчика и начал рассказывать ему историю. Некоторые из присутствующих ее тут же забыли, а от остальных ускользнул ее сокровенный смысл. Только он, маленький Менахем-Мендл, запомнил притчу во всех подробностях и понял ее значение, ибо то была история его жизни от первого до последнего дня. Почести, труды, болезни, разочарования, радости, огорчения, паломничество в Святую Землю — все было там. Впоследствии, всякий раз, когда его здоровье беспокоило друзей, он увещевал их: «Не волнуйтесь, мне еще предстоит половина или четверть пути». Вот как он стал рабби: Маггид из Межирича, принимая депутацию своих приверженцев из Витебска, передал им пояс и посох. И то, и другое надлежало вручить некоему рабби Менахем-Мендлу, жившему в их городе.

Вернувшись домой, путешественники принялись искать этого счастливого человека. Тщетно. В Витебске не было рабби Менахем-Мендла. Они усердствовали настолько, что спрашивали даже прохожих, и наконец какая-то оборванная женщина сказала им: «Я знаю только одного Менахем-Мендла — моего собственного зятя». Стремглав бросились они к ней домой, и, не говоря ни слова, вручили ему пояс Маггида. Менахем-Мендл принял их, и в тот же миг посетители увидели, что он стал другим человеком.

«Мое земное призвание, — объявил он, — выявить пустоту во мне и вне меня и заполнить ее».

Этого чуткого сдержанного человека любили и люди высшего общества, и обитатели городских окраин. Маггид выказал свою любовь к нему на людях, определив Менахем-Мендлу трубить в шофар в *Рош-ха-Шана*. После того, как он отправился в Святую Землю, честь эта перешла к Леви-Ицхаку из Бердичева. Преодолевая волнение, тот поднес к губам шофар — и упал без памяти. «Его предшественник Менахем-Мендл видел больше и не поддавался страху», — заметил Маггид.

Своим восторженным друзьям Менахем-Мендл сказал: «Я далек от мысли отвергнуть ваши похвалы, ибо действительно в них буду нуждаться. В тот день, когда я предстану перед Высшим судом, я попрошу вызвать вас в качестве свидетелей. И каждый из вас станет оправдывать мою жизнь и восхвалять меня, сообщая все, что он думает обо мне, точно так же, как вы делаете это теперь. И уверившись, что мое дело выиграло, я возрадуюсь. И вот тогда-то, в самый последний момент, один из судей спросит: «Ну, а сам ты, Менахем-Мендл, ты-то что думаешь о себе?» И вновь став покорным и безгласным, я смиренно опущу голову».

«Страх наказания — бессмыслица, — сказал он, — бояться должно греха».

Как все хасидские Учители, он жил всецело в ожидании Мессии. Каждое утро выглядывал в окно и печально отмечал: «Он все еще не пришел, ибо мир по-прежнему не изменился».

Вот его самые прекрасные слова: «Человек — это язык, на котором говорит Бог».

Пламенный, ликующий энтузиаст, рабби Аарон из Карлина был хасидским эмиссаром в Литве и России. Без устали разъезжал он по городам и местечкам, смело бросая вызов противникам, разбрасывая ячеи ширящейся сети своих приверженцев везде, везде где ступала его нога. Он непрерывно расточал свои душевные и физические силы. Этот выросший в комфорте сын благополучных родителей пал жертвой какой-то неизвестной болезни, скосившей его в три дня. Он умер в возрасте 36 лет. В Межириче Маггид оплакивал его, уподобляя первосвященнику Аарону, брату Моисея.

Вот как истолковал рабби Аарон библейские стихи о лестнице Яакова, лестнице, стоящей на земле, а верхушкой касающейся неба: «Пусть человек стоит прямо, крепко упершись ногами в землю, и тогда голова его коснется неба».

«Будь у меня возможность поменяться местами с Авраамом, я бы отказался, — сказал он группе хасидов. — Видите ли, Богу нужны такие люди, как Авраам, а не дураки, вроде меня».

Однажды люди слышали, как он вскричал: «Одно из двух: Бог — царь мира, а я плохо служу ему, либо Он не царь, и тогда это моя вина».

Его друг, возвращаясь домой из Межирича, где провел несколько лет, постучался в дверь рабби Аарона. Было это поздней ночью.

— Кто там? — спросил рабби Аарон.

— Я, — простодушно ответил гость, уверенный, что его узнают.

— Один Бог имеет право говорить Я. Земля слишком мала, чтобы вместить два «Я». Разве ты не научился этому в том месте, откуда идешь?

Его друг понял, что еще многому надо ему научиться, и в ту же ночь вернулся в Межирич.

Аарон из Карлина учил своих последователей любить жизнь и не отрекаться от ее изобилия. Уныние становится грехом, говорил он им, ибо притупляет ум и оборачивается ненавистью, ненавистью к себе самому. А тот, кто ненавидит себя, рано или поздно возненавидит других.

Он говорил также: «Кто не поднимается — падает! Тот, кто не совершенствуется, — теряет опору под ногами».

Ученик Маггида, рабби Вулф из Житомира, предпочел остаться проповедником. Отсюда его интерес к языку.

«Мысль, по сути дела, бесконечна. Ее ограничивает только сказанное слово. Тогда почему же человек старается выразить свои мысли? Потому что назначение высказанного слова — очеловечивание мысли».

Он говорил: «Я не могу понять так называемых просвещенных людей, которые требуют ответов, бесконечных ответов о сущности веры. Для верующего нет вопроса, для неверующего нет ответа».

Перед смертью рабби Вулф сказал своему слуге:

— Я знаю и страшусь... Грядет день, когда мир утратит равновесие, а человек — разум... Грядет день, и это заставляет меня трепетать. Ты слышишь?

— Да, рабби, я слышу.

— Прошу тебя, скажи это другим. Скажи им, что никого не пощадят в тот день, даже таких людей, как мы с то-

бой. Мы должны углубиться в себя, чтобы отыскать искру. Скажешь им?

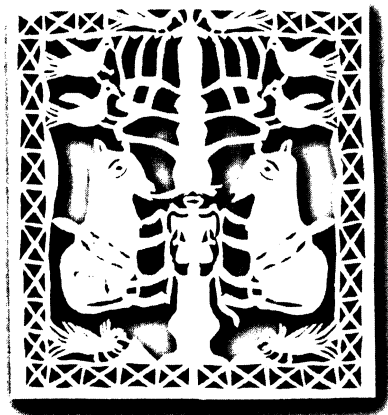
— Да, рабби, но... когда этот день придет, как им избежать гибели? Знаешь ли ты средство, рабби?

Больной вздохнул:

— Когда день придет, скажи нашему народу, что я знал это заранее.

Он повернулся к стене и умер.

ЛЕВИ-ИЦХАК
БЕРДИЧЕВСКИЙ





Рабби смотрит на кучера, который, чтобы не терять времени, смазывая повозку, бормочет утренние молитвы. Рабби не бранит его. Напротив, обратив взор к небесам, он зовет их в свидетели: «Воззри на народ Свой и гордись, Бог Израиля. Что делает этот человек, занимаясь своей телегой? Он молится. Найдется ли еще один народ, который столь неотступно думает о Тебе?»

По дороге в синагогу, где он должен руководить субботней службой, рабби встречает «просвещенного» молодого человека, который с вызывающим видом достает трубку и закуривает. Рабби останавливается, чтобы напомнить ему:

— Ты, верно, забыл, что сегодня суббота?

— Нет, не забыл.

— Гм, тогда, должно быть, ты не знаешь о законе, запрещающем курить в субботу?

— Вовсе нет, я знаю все ваши законы, — дерзко отвечает курильщик.

Рабби оглядывает молодого человека с головы до ног. Он не поддается на провокацию. Вместо этого он обращается к Тому, Кому этот юноша бросает вызов: «Ты слышишь? Верно, он попирает кое-какие Твои заповеди. Но ты должен признать одно: никто не вынудит его солгать».

Герой этих анекдотов, конечно, не кто иной, как рабби Леви-Ицхак Дербаремдикер (Милосердный); чаще его, впрочем, называют по имени города: Леви-Ицхак из Бердичева. Его рассказы, диалоги и проповеди невозможно приписать никому другому. Его монологи — это поэмы, его поэмы — это легенды, а все вместе живое свидетельство в пользу человека. И всегда он оставался нашим предстателем перед Господом.

Современник Великого Маггида из Межирича, он занимает уникальное место в хасидском движении, так же как и в жизни каждого хасида. Его популярность равна популярности Баал-Шема. Даже сегодня — пожалуй, сегодня даже больше, чем в прошлом, — он вызывает у нас уважение и любовь. Ни один учитель европейской диаспоры со времен Баал-Шема не оставил такого глубокого следа в еврейском воображении.

В детстве я представлял себе его могучим, непобедимым защитником слабых, исполненным милосердия, готовым на все ради торжества правды и справедливости. Он был моим героем тогда, остается и сейчас. Часто, предпринимая путешествие во времени в поисках своих духовных истоков, я вспоминаю его песни и молитвы. И когда мы помышляем о преграде между жертвой и преследователем, между умирающим и смертью, его имя вспоминается первым. Призывать его имя, согласно хасидской традиции, значит сформулировать пожелание и заручиться его исполнением. «В чем величие Леви-Ицхака из Бердичева?» — спрашивал мой дед. И отвечал: — Он был борцом».

Однако он не был рабби в общепринятом смысле этого слова. Он не добивался распространения своей собственной доктрины, не нуждался в учениках, последователях, поклонниках. Бердичевский хасидизм возник и исчез вместе с ним. Он не основал ни школы, ни династии. Воздвигнутое им здание он носил в себе.

Возможно, этим, главным образом, и объясняется то единодушное уважение, с которым относились к нему другие великие вожди движения. Он не был ничьим соперником. Шмелке из Никольсбурга называл его своим учени-

ком в «*Нигла*» (устной традиции), и учителем в «*Нустар*» (эзотерической традиции). Шнеур-Залман из Ляд говорил так: «Бог — цадик наверху, а Леви-Ицхак — здесь, внизу». Барух из Меджибожа утверждал, что ангелы и серафимы завидуют его душевному жару. Нахман из Брацлава, самый бунтовщик, воздал ему хвалу, узрев свет Израиля в его свете. Другой нонконформист, Менахем-Мендл из Коцка, беспепелляционно заявлял, что врата святилища любви были открыты Леви-Ицхаком. После его смерти они вновь сомкнулись.

Будучи другом всех рабби и рабби всех их учеников, он не принадлежал ни к одному клану. Он был выше соперничества и отказался от участия в бесчисленных сварях, раздиравших движение. Защитник Израиля, он ходатайствовал за каждого несправедливо униженного, осужденного еврея в отдельности и за всех вместе. Его самые чудесные приключения, самые прекрасные истории об этих приключениях показывают Леви-Ицхака в роли защитника, противостоящего Судии. Я любил их в детстве, не видел в них ничего, кроме рассказов о любви и дружбе. Сегодня я чувствую, что они отягощены отчаянием, духом мятежа — и люблю их еще больше. Я часто обращаюсь к ним. Я обязан им многим. И бывает, перед тем как писать, я наведываюсь в их сокровищницу.

Кем же он был? Его жизнь прослеживается лишь в общих чертах. О его детстве известно очень мало, почти ничего. Мы знаем, что он родился в Галиции в 1740 году, что он обладал острым, пытливым умом, что очень рано стал ученым-талмудистом и что женился весьма молодым. Когда Баал-Шем умер, Леви-Ицхаку было двадцать лет. Он мог бы встретиться с ним, но не повстречался. Возможно, все это его не занимало — недавно основанное движение не привлекало его. Он отправился к Шмелке в Никольсбург изучать Талмуд и комментарии, а не хасидизм. Рабби Шмелке, впечатленный его ученостью и жаждой знаний, уделял Леви-Ицхаку пристальное внимание. Это был ученик в его вкусе: экономный в движениях и скупой на слова.

«Он ни разу не произнес ни одного слова понапрасну», — позднее сказал рабби Шмелке. И он послал Леви-Ицхака в Межирич, к Магиду, где ему довелось открыть,

что исходные принципы иудаизма надо переживать, а не изучать.

Сразу после женитьбы Леви-Ицхак пришел провести праздники к своему тестю — влиятельному члену общины. Накануне *Симхат-Тора* он был приглашен прочесть молитву, открывающую торжественное шествие и пляски. Польщенный Леви-Ицхак взобрался на кафедру, обернул плечи ритуальным покрывалом и — снял его. Минутой позже он завернулся в него, но лишь с тем, чтобы снова снять. Это продолжалось довольно долго, на глазах у изумленных прихожан. Наконец Леви-Ицхак решительно сорвал *талит*, гневно прокричав: «Так если ты сразу и хасид, и талмудист, можешь читать молитву сам!» — и вернулся на свое место.

В тот же вечер за обеденным столом тесть возмущенно обратился к нему:

— Ты осрамил меня перед всей общиной, так уж позволь узнать почему?

— Я объясню вам, что случилось, — мягко сказал Леви-Ицхак. — Когда я завернулся в *талит*, *йеицер ха-ра*, зловерный искуситель, предложил мне совместно читать молитву. «С тобой? — спросил я. — А ты достоин этого?» «А ты?» — отпарировал он. «Да, — сказал я, — ведь я изучаю Талмуд». — «И я». — «Ты изучаешь Талмуд? Где?» — «С тобой». — «Но ведь я — не ты. Я хасид». — «И я». — «Кто же твой рабби?» — «Тот же, что и твой». — «Великий Маггид из Межирича?» — «Он самый. Каждый раз, когда ты направляешься к нему, я сопровождаю тебя». И тут, — добавил Леви-Ицхак, — гнев обуял меня. «Ну, раз ты взыскан столькими достоинствами и столь добродетелен, во мне ты не нуждаешься. На тебе *талит* и читай молитву без меня».

Этот анекдот позволяет убедиться в силе его темперамента и полнейшем безразличии к общественному мнению. Как бы то ни было, если, говоря и поступая таким образом, он надеялся сделать своего тестя хасидом, придется признать, что он потерпел неудачу. Тесть запретил ему возвращаться к Учителю. Чтобы вернуть себе свободу, Леви-Ицхак начал поститься, и эта первая в анналах хасидизма голодовка увенчалась успехом.

Леви-Ицхак вернулся к Маггиду, где снискал репутацию прекрасного талмудиста. Несколько общин предложили ему

раввинские посты. Однако ему не везло: куда бы он ни приходил, везде его встречала оппозиция митнагедов, провоцировавших и третировавших его — не потому, что они питали ненависть к нему лично, просто таков был обычай.

Это было время яростных схваток между хасидами и их противниками, сохранявшими верность строгому, консервативному толкованию иудаизма. Совсем недавно Виленский Гаон опубликовал свой первый указ об отлучении, который читали во всех общинах. Ученики Маггида ответили тем же. Фанатизм процветал в обоих лагерях. Ни один еврей не мог оставаться в стороне. Если одна сторона поддерживала того или иного учителя — другая немедленно его отвергала. Синагоги превратились в театр военных действий, улицы оглашались бранью из-за пропущенных или добавленных стихов. Евреи, особенно на Украине, дошли до того, что апеллировали к властям, дабы принудить канторов совершать богослужение в консервативной манере. Хуже того, рабби Шнеур-Залман из Ляд был арестован по обвинению в государственной измене.

«Это они донесли на него», — возмущались хасиды. Иррациональная ненависть, обуявшая антагонистов, приобретала черты массовой истерии.

Леви-Ицхак по мере сил уклонялся от схватки. Его вера в Бога и в человека (а для него это взаимосвязанные понятия) была слишком велика, слишком неподдельна, чтобы углублять различия между людьми. С его убеждениями и темпераментом он мог лишь оплакивать сектанство в любой форме. Пользы однако же в этом не было: куда бы он ни пришел, он попадал в самую гущу схватки.

Его пригласили сменить рабби Шмелке в Ригволе, и он немедленно подвергся там испытаниям: интриги, клевета, издевательства, насмешки — и никого, кто бы пришел на помощь.

Измученный и выдохшийся, он сбежал. Это случилось в канун *Симхат-Тора*.

Пребывание в Злочеве, где на двадцать шестом году жизни он занял пост раввина, оставило у него не менее горькие воспоминания.

Спустя шесть лет он вновь лишился должности. Леви-Ицхак принял приглашение обосноваться в Минске — и

столкнулся с теми же нападками, с той же оскорбительной и злобной клеветой. Однажды, когда он навешал своего Учителя в Межириче, минские евреи ворвались в его дом, вдребезги разбив все, что попало им под руку. Это был полный разгром. Более того, вернувшись домой, Леви-Ицхак обнаружил, что его место занял другой рабби.

В конце концов, после долгих странствий, он застрял в Бердичеве. Будучи 45 лет от роду, он наконец получил возможность начать работу в довольно стабильной, если и не вполне мирной обстановке. Здесь тоже нашлись митнагеды (правда, их было немного), столь же громогласные и деятельные, как везде. Их присутствие никак не облегчало жизнь новому рабби.

Однако с годами враждебность мало-помалу ослабла. Благодаря рабби Бердичев стал святилищем хасидизма. Он умер через 25 лет после прибытия в город, совет общины отказался нанять преемника: Леви-Ицхаку невозможно наследовать. Хроники подтверждают: в Бердичеве после него не было рава — официально назначенного раввина. Даяны — раввинские судьи — имелись, но другого рава не было никогда.

Деликатный, внимательный, мягкий в обращении с людьми, он казался наивным, чуть ли не инфантильным человеком. Но у него было чувство юмора.

Его мгновенные реплики отличались остроумием, но редко бывали обидными. Приведенная ниже история представляется исключением.

Раввин общины портных и пекарей — врагов хасидизма — предложил ему выступить перед ними.

«Сказано, — обратился к ним рабби Леви-Ицхак, — что, когда придет Мессия, сама природа обеспечит людей одеждой и хлебом. Я все не мог понять, зачем это. Но теперь понимаю. Для того, чтобы не нужны были ни портные, ни пекари, ни даже их раввин».

В другой раз, во время публичных дебатов в Варшаве с Авраамом Каценеленбогеном из Бриска, митнагедом и серьезным оппонентом, он ввязался в полемику о некоторых обычаях, только что введенных в хасидское богослужение.

— Почему вы так орете в синагоге? — спросил рабби Авраам. — Думаете, Он очень далеко? Так далеко, что не расслышит вас?

— Отнюдь, — ответил Леви-Ицхак, — мы знаем, что Бог рядом, что Он слушает нас. Если мы кричим, так это для того, чтобы вы нас услышали.

Однако от аналогичного диспута в Вильне он уклонился по совету Маггида из Кожниц.

— Если они спросят тебя, — заметил Маггид, — почему, вопреки обычаю, во время чтения *Амида* твои глаза остаются открытыми, что ты ответишь?

— Как? — удивился Леви-Ицхак. — Мои глаза открыты? Но ведь я ничего ни вижу, когда молюсь.

— Верно, — сказал Маггид из Кожниц, — я это знаю. Но они, враги наши, разве знают это?

И Леви-Ицхак сдался.

Такое с ним случалось нечасто. Обычно остановить его на полпути не удавалось. Слишком порывистый, чтобы взвешивать последствия своих действий или обращать внимание на насмешки, он бросался очертя голову вперед, веря в себя и в то, что найдет именно те слова, какие потребуются.

Однажды, когда он шел по улице, кто-то метко выплеснул ему на голову ведро помоев. Расспросив людей, он выяснил, что оскорбила его жена злобного митнагеда. Невозмутимый рабби спокойно проследовал в «Дом учения», где объявил инцидент исчерпанным: «Не гневайся, Господи, это не ее вина. Бедная женщина всего лишь хотела угодить мужу. Можешь ли Ты винить ее за это?»

Описанный случай показывает масштаб личности этого человека. Он никогда не терял находчивости и остроумия, всегда умудрялся найти смягчающие обстоятельства для других. Ему самому не удавалось отделаться так легко: наиболее строгим судьей Леви-Ицхака был он сам. «Почему все талмудические трактаты нумеруются начиная со второй страницы? Чтобы напомнить нам: даже если мы знаем их от корки до корки — все равно, мы еще и не приступили к их изучению». Каждый вечер, перед отходом ко сну, он обозревал прошедший день: «Леви-Ицхак грешил сегодня»

ня, — причитал он, — но Леви-Ицхак обещает больше этого не делать. Он то же самое обещал вчера? Да, но сегодня это уже по-настоящему».

Хочется верить, что его юмор был бессознательным, почти произвольным. Он не использовал обходные маневры или хитроумную стратегию для привлечения смеющихся на свою сторону: он слишком уважал человеческую природу (а что может быть более человеческим, чем слабости), чтобы глумиться над ней. Если он и забавлял людей, то невольно. С бесконечной серьезностью он переводил заурядные обиды и ссоры в теологические диспуты, включая в конфликт вездесущего участника — Бога, наделяя тем самым свою в общем-то ребячливую легкомысленную паству вневременным, вечным измерением. Становясь на сторону своего обидчика он, естественно, вызывал смех — но смех того рода, что метит не в противника, а в саму ситуацию, худо или хорошо распределившую роли.

Однажды он услышал проповедника, неистово призывающего огонь и серу на общину за ее грехи, действительные и мнимые. Только после окончания проповеди Леви-Ицхак дал себе волю: «Господи, да не слушай Ты его, — взмолился он, — ведь человек говорил по обязанности. Разве Ты не видишь, это же его ремесло. Проповедями он зарабатывает хлеб насущный. Ведь у него, конечно, семья, которую надо кормить, и три дочери, которых надо выдать замуж. Дай же ему денег, в которых он нуждается, и пусть он прекратит злословить и клеветать на Твоих детей».

Что до Леви-Ицхака, то ни разу не сказал он плохого слова о Его детях. Напротив, он превозносил их добродетели и перед Господом, и в сердце своем. Таков уж девиз Леви-Ицхака: человек должен критиковать себя и воздавать хвалу своему ближнему. Порой он возлагал на себя ответственность за все невзгоды человечества.

Вот одна из его историй:

«Однажды утром я с беспокойством и огорчением заметил, что горожане больше не уважают меня. Я старался понять, почему? И наконец увидел, что дело не в них, а во мне. Попросту, я сам потерял к себе всякое уважение. С какой же стати другие будут более снисходительны, чем я? Короче, мне пришлось поработать над собой. В итоге люди

начали ко мне относиться со все возрастающим уважением. Сперва моя семья, потом соседи. От семьи к семье, от улице к улице — сдвиг становился все более ощутимым и наконец затронул весь город. Меня опять стали уважать».

Занимаясь самосовершенствованием, рабби влияет на других — это основной принцип мистического мышления. Пусть хоть один человек достигнет совершенства, тогда все остальные проникнутся истиной. Леви-Ицхак лишь частично присоединился к этой форме эгоцентризма, предпочитая непосредственную помощь людям. Он беседовал с ними, направлял их действия, отдавал им себя пусть только для того, чтобы люди смогли облегчить душу.

Встретив на улице закоренелого безбожника, он спросил его:

— Знаешь ли ты, что я тебе завидую?

— С чего бы это?

— Потому что, по словам наших мудрецов, если ты когда-нибудь раскаяешься, все твои грехи будут засчитаны как добрые дела.

Окончание этой истории известно в двух вариантах. В соответствии с первым, безбожник обратился к вере. Согласно второму, он вскричал: «Ну уж коли ты завидуешь мне сейчас, рабби, то подожди до ночи: у тебя будет куда больше поводов для зависти».

В другой раз он сумел переубедить своего противника, известного философа, который очень любил задавать раввинам и теологам провокационные вопросы, содержащие диалектические доказательства невозможности бытия Бога. Прибыв в Бердичев, этот человек застал рабби Леви-Ицхака погруженным в глубокое раздумье. Неожиданно, без всякого вступления, рабби взглянул ему прямо в глаза и мягко сказал: «Ну, а если все-таки это правда? Скажи мне, а что если это правда?» Со временем философ признался, что этот вопрос больше встревожил его, чем все возможные утверждения и доводы, слышанные им когда-либо до или после этой встречи.

Леви-Ицхак знал, когда и с кем делить свою уверенность в истине и свои поиски истины. Он знал, когда стоит врезаться в самую гущу страстных и бурных дебатов, а когда — вернуться к пассивному ожиданию. Владея искусст-

вом ошеломляющей реплики, он знал, когда нужно хранить молчание.

Он не обманывался и насчет людей, хотя любил даже самых грешных и невежественных. Именитейшие мужи города упрекали его за общение с простонародьем. «Когда Мессия придет, — отвечал Леви-Ицхак, — Бог устроит пир в его честь; и, конечно же, созовет всех наших патриархов и царей, пророков и мудрецов. А я тихонько прокрадусь себе в последний ряд, в надежде, что там на меня не обратят внимания. Если же вдруг меня обнаружат и спросят, по какому праву я здесь, я скажу: «Пожалуйста, будьте милосердны ко мне, ибо и я был милосерден».

Бедняки, неудачники, неучи искали его. Присутствие Леви-Ицхака давало им ощущение собственной значимости. Они получали у него то, в чем нуждались больше всего: чувство собственного достоинства.

Было ли в его силах изменить их жизнь? Не следует обольщаться на этот счет, но стоит помнить то, что явствует из легенд: влияние Леви-Ицхака на людей выходит за рамки его способностей оратора и полемиста. К примеру, доводы, которыми он пользовался, значили меньше, чем его способ отправления службы. Его улыбки были исполнены большего значения, нежели проповеди.

Это случилось еще в Минске. Он послал за безвестным, неприметным учителем по имени Аарон, жившему в дальней деревушке. Учитель, человек молодой и робкий, никак не хотел следовать за посыльным. Все же его убедили, и он предстал перед Леви-Ицхаком. Тот сердечно встретил гостя: «*Барух ха-ба*, рабби Аарон, добро пожаловать. Садитесь, рабби Аарон из Карлина».

Озадаченный столь почетным приемом, посетитель покачал головой. Ничего более. Два человека уселись друг перед другом, не проронив ни единого слова. Прошло два часа — ни звука. Затем, повинувшись общему побуждению, они молча обменялись улыбками — и так же молча расстались. Ни тот, ни другой не раскрыли нам значения и смысла улыбки, сути и содержания этого молчания. Но результат мы знаем: робкий, застенчивый учитель стал знаменитым цадиком.

Как и Баал-Шем, Леви-Ицхак изменял тех, кто встречал его. И подобно Баал-Шему, Леви-Ицхак легче всего чувствовал себя среди обычных людей. Он поддерживал контакты с другими рабби — Элимелехом из Лизенска, Шмелке из Никольсбурга, Маггидом из Межирича, — но являлся к ним в обличье простого хасида. Он предпочитал быть ведомым, а не ведущим. В своем подлинном смирении он возлюбил униженных и голодных. Тронутый их нищетой, он видел в ней милость Господню. Сам вечно безденежный, он жалел богатых, «которые теряют больше, чем приобретают». Свое жалованье он раздавал нищим.

Отчаявшись, его жена пожаловалась в раввинский суд, что муж — который случайно в этот раз занимал председательское место — не выполняет условий брачного контракта, что, занятый беготней из деревни в деревню, с улицы в синагогу, из богадельни в сиротский приют, он пренебрегает нуждами семьи. Леви-Ицхак не признал себя виновным. Этот контракт, объяснил он, предписывает кормить и одевать семью на честно заработанные деньги. Ну, а рабби не всегда вправе приберечь что-то для семьи.

В связи с этим рассказывают странную историю. Ходили слухи, будто его жена подписала у местного мирового судьи некое обязательство, дав обет креститься, если в назначенный срок она не выкупит заклад.

Действительно, ее муж не обращал на деньги никакого внимания и недоумевал, отчего люди так страстно жаждут получить их. Увидев спешащего по улице человека, он остановил его: «Эй, куда ты несешься?» — «Я ищу работу». — «Из-за этого ты торопишься? А что, если работа ищет тебя? Если Бог ищет тебя?» По его мнению, деньги существовали лишь для того, чтобы раздавать их в качестве подаяния. Когда совет общины обсуждал проект создания фонда для нуждающихся, с тем чтобы отвалить бродячих попрошаек, он заявил, что эта затея напоминает ему о Содоме, где терпеть не могли нищих, и пригрозил отставкой: не нужно мешать бедным. Совету пришлось уступить.

Леви-Ицхак был порывистым человеком, способным на непредсказуемые поступки. Никто не знал, чего от него ожидать.

Однажды он вскарабкался на крышу дома, примыкающего к рынку. Внимательно следил он за торговлей лавочников, прислушивался к крикам барышников — и внезапно закричал: «Люди добрые, а люди добрые! Не забывайте! Не забывайте: Бога тоже надо бояться!»

Время от времени он посылал своего слугу то в одну, то в другую синагогу: «Не оглядывайся по сторонам, сразу же поднимись на *бима*, стукни по ней кулаком и объяви: «Знай-те же, мужчины и женщины, знайте: Бог есть, и Он Бог и вот этого, нашего мира!»

Люди противились ему, но в Бердичеве — никто над ним не насмехался. Люди внимали ему, выказывали уважение, хоть был он чудным, нескладным, и вечно с ним что-нибудь случалось. Он не мог засветить ханукальные свечи без того, чтобы не обжечь пальцы, не мог вынуть из буфета *этрог*, не разбив стеклянную дверцу. На седере у педантичного рабби Баруха из Меджибожа он опрокинул стол. Пошел как-то к колодцу и чуть не свалился в него. То ли рассеянный, то ли постоянно пребывающий в трансе, — он обладал, вероятно, весьма слабым чувством реальности. Леви-Ицхак не отдавал себе отчета в беспорядке, который везде оставлял за собой. Внутренняя жизнь обособляла его от внешней. Когда свора подонков беспощадно избивала его, он ни на минуту не прерывал молитв, словно не замечал побоев. Невосприимчивый к внешнему миру, он не боялся страданий. Он просто игнорировал их. Он побеждал боль своим собственным способом. Провожая на кладбище тело своего сына, он принялся танцевать, восклицая: «Господи, Ты вверил мне сына моего с чистой душой, и таким я возвращаю его Тебе».

Понятно, почему митнагеды, отвергавшие все, что отдавало сенсацией, боролись с ним столь ожесточенно и с такой решимостью, особенно вначале. Им не нравились его манеры, его увлечения — все, что они называли театральщиной, короче — его образ жизни. В качестве казенного раввина он, по их мнению, должен был посвящать больше времени занятиям и меньше — богослужению. Он поступал наоборот. Как некогда рабби Акива, он молился так самозабвенно, что перепуганные верующие шарахались от него. Он жестикулировал, стонал, танцевал, прыгал из

угла в угол, толкая и опрокидывая все, что попадалось на его пути. В этот момент люди не существовали для него. Во время молитвы он сам для себя не существовал. Не раз верующие, устав ждать конца службы, уходили домой, оставляя его в *Бет-Мидраш*. Такое случалось даже в канун *Песах*. Он молился страстно, ибо верил в молитву. Вот история, которую он любил рассказывать: «Однажды при мне схватили вора, и я услышал его бормотание: «Ай, как плохо, ай, как досадно. Ничего, авось другой раз удастся». Вот у этого вора я и научился тому, что всегда надо быть готовым к новой попытке».

Не меньше, чем в молитву, верил он в рвение, и сам был ревностен безгранично. Что бы Леви-Ицхак ни делал, он безоговорочно отдавался этому всем своим существом. Часто он терял сознание посреди учебы. Самая непродолжительная молитва изнуряла его: она заключала в себе больше, чем упование — она захватывала всю его жизнь.

Но превыше всего он верил в приход Мессии. Составляя брачный контракт его сына, писец указал, что свадьба будет отпразднована тогда-то и тогда-то в Бердичеве. Леви-Ицхак яростно изорвал контракт в клочки: «В Бердичеве? Да с какой стати! Вот что ты должен написать: свадьба состоится такого-то дня в Иерусалиме, если же Мессия до тех пор не явится, бракосочетание переносится в Бердичев».

Как и многие его ученики, он был ярким, выделяющимся из толпы человеком. Он заинтриговывал, смущал, очаровывал и пугал многих своих современников. Одни его знали, не понимая. Другие любили, не зная.

Он «играл», привлекая к себе внимание. Такова уж была сущность этого человека. Некоторые полагали, что он считал лицедейство лучшим прикрытием. Такого мнения, в частности, придерживался Элимелех из Лизенска, спросивший Аарона из Житомира: «Почему ты хочешь остаться со мной? Следуй за своим учителем, Леви-Ицхаком». «Его я уже знаю. Вы тот человек, кого я хочу узнать теперь». — Что ты мелешь! — выбранил его Элимелех. — Ты думаешь, будто знаешь Леви-Ицхака — да ты не имеешь представления даже об одежде, покрывающей его!»

Зато другие учителя предостерегали непосвященных против близкого общения с этим, на их взгляд, опасным человеком.

Ученик Моше-Лейба из Сасова, известный Авраам-Давид, будущий рабби из Бусака, собрался провести субботу в Бердичеве. Сасовский цадик спросил его: «А сможешь ли ты удержаться от смеха?» — «Да, рабби». Но Авраам-Давид переоценил свои силы. Безумие поразило его во время первой субботней трапезы. Ни с того ни с сего он разразился смехом и не мог остановиться тридцать дней и тридцать ночей. Рабби Моше-Лейб написал тогда своему другу: «Я послал тебе целую вазу, а ты вернул мне ее разбитой на тысячи осколков».

Этот эпизод никогда не был полностью исследован. Хасидские хроники ограничиваются тем, что наделяют его счастливым концом. Леви-Ицхак, движимый состраданием, отменил наказание. Ученик выздоровел. Но почему он смеялся в присутствии Учителя и его гостей? Что заставило его столь бесцеремонно оскорбить хозяев? Ведь он был простым заурядным человеком. Неужели он увидел, открыл или осознал в Бердичеве нечто такое, что заставило его рассмеяться в святейший момент недели, перед лицом достойнейших деятелей хасидизма? Этого мы никогда не узнаем.

Почему Леви-Ицхак так восхищался царем Соломоном, мудрейшим из наших монархов? Потому что, согласно Мидрашу, он владел всеми языками? Потому что умел разговаривать с птицами? Потому что Соломон понимал язык сумасшедших.

Мы никогда не узнаем истины. Целый период, какой-то особый период в жизни рабби — табу. Хасидские тексты едва намекают на это. Думается, он не смог преодолеть состояние глубокой депрессии, более глубокой, чем те, предыдущие.

Мы знаем, к примеру, что однажды ночью, очутившись на тогдашней улице Дубильщиков, он был охвачен безграничной, почти нечеловеческой печалью и потерял сознание. Мы знаем также, что его угнетало воспоминание о са-

моубийстве бедного, убогого служки, повееившегося на главном светильнике синагоги — ради вящей «славы» Господней. Постоянно навешая других учителей, Леви-Ицхак, по всей видимости, пытался избавиться от видений, овладевших им после долгого, многолетнего сопротивления.

Он погрузился в себя, превратился в затворника. Внезапно утратил способность исполнять официальные обязанности и проводил время, необычайно быстро читая из маленькой книжечки, с которой никогда не расставался. Он находился в прострации, отсутствующий взгляд блуждал поверх предметов и людей. Он, чья страстность высекала искры из каждого сердца, выгорел дотла, став испуганным, затравленным человеком. Пружина сломалась. Что его мучило? Переутомление? Или наслоившиеся переживания, обиды взяли свое? Возможно, накопившиеся неудачи ввергли его в отчаяние. Много цадииков собралось, чтобы помочь ему. Они приписали недуг иным глубинным и скрытым причинам. Ицхак-Айзек из Калува констатировал: «Это возмездие ангелов, он понукал их». Другие усматривали здесь кару: кажется, Леви-Ицхак засомневался однажды и в своей собственной силе, и в искренности своих последователей. Третьи утверждали, что он пал жертвой своих предосудительных изысканий: тайной наукой нельзя заниматься безнаказанно. Беззащитен и уязвим тот, кто бросает вызов Божественному порядку. Открыл ли Леви-Ицхак, что душа может стать врагом разума? Что рвение, доведенное до предела, обрывается в бездну, что метания оборачиваются безумием? Понял ли он, что его мольбы не привели к ожидаемым результатам, ибо Богу легко не внимать им либо не придавать его молитвам значения. Никто не знает — и что совсем уже странно, — никто даже не пытался узнать.

Однако его болезнь не выглядит исключением. Многие другие хасидские учителя страдали подобным же образом: Барух из Меджибожа, Нахман из Брацлава, Элимелех из Лизенска, Святой Люблинский Ясновидец и, согласно некоторым источникам, сам Баал-Шем. Все они по-разному боролись с меланхолией. Быть может, с неотступным вниманием всматриваясь в страдания, они приучились видеть в мире только скорбь, и, напряженно вслушиваясь, в тыся-

чи печальных голосов, предпочли оглохнуть и онеметь. И все-таки с Леви-Ицхаком дело обстоит иначе: о его надломе почти не упоминается, словно летописцы хасидизма не хотели, чтобы он предстал перед нами измученным, сломленным человеком. Кто угодно — только не он. Легенда принуждала его оставаться верным себе, пылающим верой, источающим силу и творческий восторг.

По счастью, кризис продолжался не более года. Леви-Ицхак выздоровел почти внезапно, без всякой посторонней помощи покончив с этим кратковременным недугом, и снова стал самим собой. На протяжении следующих пятнадцати лет он неоднократно бросался в битву, которая достигла тогда особого накала, чтобы защитить свой народ от бесчисленных опасностей и наветов. Кстати, его болезнь стала точкой отсчета, началом. После уединения и безмолвия, после жгучих мук разочарования Леви-Ицхак достиг новых высот и обрел новые силы, корнями уходящие в его распри с Богом. Можно с уверенностью сказать, что распри эти приходятся на время, протекшее между завершившимся душевным кризисом и кончиной. Его отвага и прямодушие были продиктованы тем же глубочайшим отчаянием, что и мятеж.

Поначалу рабби взял на себя властную защиту человека от его Судии. Он сделал это во время новогодних праздников, в присутствии всей общины. А чтобы каждый мог его понять, изъяснялся не на священном языке, а на идиш, иногда на польском. Для битвы священный язык он считал малоподходящим. Даже для битвы с Богом.

В диалоги с Богом вступали и до него. Но никто не осмеливался с Ним противоборствовать. Никто не заходил так далеко, чтобы осуждать Бога и угрожать Ему. «*Зол Иван блозен шофар!*» — вскричал Леви-Ицхак во время службы *Рош-ха-Шана*. — Если Ты предпочитаешь нам врага, чьи страдания уступают нашим, пусть враг и воздаст Тебе хвалу!» Со всей решительностью рабби напоминал Богу, что он тоже должен просить прощения за все невзгоды, которые навлек на свой народ. Отсюда, мол, следует множественное число *Йом-Кипурум* (вместо единственного числа «кипур». — *Прим. пер.*): просьба о прощении взаимна.

Однажды в синагоге он заметил заплаканного человека. Это случилось перед *Кол-Нидре* *.

— Почему ты плачешь? — спросил Леви-Ицхак.

— Как же мне не плакать? Я был благочестивым и благополучным человеком, жена — богомольной и гостеприимной. И вдруг вмешался Он и поверг меня в прах. Я лишился жены. Лишился дома. Теперь я уже ни на что не надеюсь. Я остался нищим, с шестью детьми на руках. Погоди, это еще не все. Был у меня молитвенник, который значил для меня очень много. И Он сжег его тоже. Я не знаю больше, как мне молиться и могу только плакать.

Рабби распорядился, чтобы человеку принесли точно такой же молитвенник, какой у него был раньше, а затем спросил:

— Будешь молиться?

— Да.

— Простил ты Его теперь?

— Да, — промолвил еврей сквозь слезы, — сегодня же *Йом-Кипур*: я обязан простить.

— Прекрасно, теперь Твоя очередь там, наверху, сделать то же самое! — возопил Леви-Ицхак. — Ты должен тоже простить.

И он запел строгую, торжественную молитву *Кол-Нидре*.

В другой раз он предложил Богу сделку: «Мы отдадим Тебе наши грехи, а в ответ Ты даруешь нам прощение. Впрочем, Ты-то и будешь первым. Без наших грехов что бы Ты делал со Своим прощением?»

Вот какую историю он рассказал в *Рош-ха-Шана*: «Женщина, запыхавшись, прибегает в синагогу: она опоздала. Вдруг она замечает, что служба еще не началась. И тогда она обращается к Богу: «Я хочу возблагодарить Тебя за то, что Ты велел Своим детям подождать немного. Что же мне пожелать Тебе? Я желаю Тебе гордиться ими так же, как горжусь ими я».

Однажды он с утра до ночи простоял на кафедре, молча, не шевеля губами, после того, как при всех предостерег Бога: «Если ты отказываешься отвечать на мои молитвы, я отказываюсь творить их».

* *Кол-Нидре* — главная молитва Судного дня.

Другая история: «Был *Йом-Кипур*. Верующие, ослабев от поста, ждали когда рабби начнет молитву *Муссаф*, но он тоже чего-то ждал. Прошел час, другой. Нетерпение обратилось в мучительное ожидание. На этот раз рабби явно переборщил. Уже поздно. Чего он ждет? Наконец, очнувшись, он объяснил: «Среди нас есть человек, не умеющий читать. Это не его вина. Он был слишком занят, обеспечивая семью, чтобы ходить в школу или заниматься с учителем. Но он жаждет петь. И он позволяет себе в сердце своем сказать: «Ты — Бог, а я всего лишь человек. Ты Всемогущий и все знаешь, я слаб и невежествен. Я способен разве что разобрать двадцать две буквы священного языка. Разреши же мне вручить их Тебе, чтобы Ты сотворил из них для меня молитвы, и будут они прекраснее моих». Рабби возвысил голос: «А посему, братья, нам пришлось ждать. Бог был занят. Он создавал молитвы».

Если другие мистики сохраняли отношения с Богом на уровне Я и Ты, Леви-Ицхак угрожал Ему разрывом этих отношений. Тем самым он доказывал: можно быть евреем с Богом, в Боге, даже против Бога — но не без Бога. Он не довольствовался тем лишь, что задавал вопросы Богу, как это делали до него Авраам и Иов. Он требовал ответов, и из отсутствия таковых делал свои выводы. Утверждения святости путем противостояния Богу — вот чего он искал. «Если бы согласились с доводами Бердичевского рабби, сказал Барух из Меджибожа, — то не осталось бы ни одного еврея, перед которым Бог не был бы виноват».

А доводы его впечатляли: «Со дня заключения Тобой договора со Своим народом, Ты настойчиво старался разорвать этот союз, подвергая его испытаниям. Зачем? Вспомни: на Синае Ты бродил взад и вперед со Своей Торой, словно торговец, неспособный избавиться от гнилых яблок. Ты предлагал Свой Закон каждому народу, все они презрительно воротили нос в сторону. Один лишь Израиль изъявил готовность принять Тору и принять Тебя. Где же его награда?»

В другой раз он произнес страшные слова: «Знай, если Твое царствование не принесет милосердия и сострадания,

ло тешев аль кисаха бе-эмет — трон Твой не будет троном истины».

Он сказал также: «Когда еврей видит филиakterии на земле, он спешит поднять и поцеловать их. Разве не написано, что мы — Твои тфилин? Неужели Ты никогда не соберешься поднять нас к себе?»

Перед молитвой *Муссаф* в *Йом-Кипур* он вскричал: «Сегодня Судный день! Давид в своих псалмах объявил это. Сегодня все Твои создания стоят перед Тобой, и Ты можешь вынести им приговор. Но я — Леви-Ицхак, сын Сары из Бердичева, я говорю и провозглашаю, что судить сегодня надо Тебя. И судить Тебя должны Твои дети, страдающие и умирающие за сохранение святости имени Твоего, Твоего Закона и Твоего обета».

И еще: «Ты предписал человеку помогать сиротам. Мы тоже сироты. Почему же Ты отказываешься помочь нам?»

Его депрессии, вероятно, связаны с несчастьями, которые, как он видел, непрерывно сыплются на народ. Однажды в канун *Песах*, измученный, выведенный из себя неразрешимой загадкой всеобщих мучений и бедствий, он взорвался: «Сегодня мы празднуем наш исход из Египта. По традиции, четыре сына задают отцу четыре вопроса, относящиеся к этому событию. Нет, не четыре, только три. Четвертый даже не знает вопроса. Я — четвертый. И не то, чтобы я испытывал недостаток в вопросах, Господи. Но я не знаю, как их поставить, да если бы и знал, не осмелился. Итак, я не спрашиваю, почему нас преследуют и уничтожают везде и всюду, под любым предлогом, но я по меньшей мере хотел бы знать, для Тебя ли все наши страдания?»

Несмотря на эти громогласные обличения, никому не приходило в голову обвинить его в богохульстве. По двум причинам. Первая: Леви-Ицхак не злился бесконечно. Однажды выговорившись, он возвращался к Богу. Его упреки улетучивались, угрозы таяли, и он свободно — как свободный человек — заканчивал древнюю, величественную молитву *Кадииш*. Вопросы оставались вопросами, но он продолжал служение, заново возводя здание на руинах. Второе: еврейская традиция позволяет говорить Богу все, при условии, что это делается в интересах человека. Внутрен-

нее освобождение человека есть оправдание Божества. Все зависит от того, какую позицию выбрал обличитель. Оставаясь в недрах своей общины, он вправе высказываться начистоту. Стоит ему выйти за ее пределы, он лишается этого права. Восстание верующего — это не мятеж ренегата и не одна и та же мучительная потребность заставляет обоих возвысить голос.

Восстание Леви-Ицхака из Бердичева сообщило еще большую силу легенде. Он поднимается из нее уже не только как наставник, Учитель. Это сильный и отважный брат, надежный заступник.

Давайте закончим эту главу историей, которую безвестный хасид рассказал мне в царстве мрака и тумана:

Умирая, Леви-Ицхак в присутствии своих ближайших последователей поклялся, что как только окажется Там, — он отречется от покоя, пока ему не будет позволено положить конец людскому горю. Чтобы воспрепятствовать выполнению его обещания, Господь превратил Леви-Ицхака в ангела огня. Вот почему Мессия так медлит с приходом. И вот почему, добавил хасид, мы пребываем здесь — забытые, брошенные, извергнутые из Божественной и людской памяти. Ни одна из этих жестокостей, ни одно из этих зверств не были бы возможны, если бы за нас мог заступиться наш предстатель Леви-Ицхак.

Но вопросы Бердичевского рабби, его вызов Всевышнему взвились к небу языками пламени и пережили Леви-Ицхака. Сопровождая наше бытие, они придают нам силы и мужество вновь и вновь обращать их к небу, словно эти вопросы измыслили мы сами.

ЭЛИМЕЛЕХ
ИЗ ЛИЗЕНСКА





Давным-давно в литовской деревушке жил да был человек по имени Элизер Липман, прославившийся щедростью и великодушием. Как-то по дороге в деревню увидел он нищего и, остановив повозку, пригласил его подняться.

Нищий отказался:

— За целый день я еще ничего не заработал.

— А сколько мог бы заработать?

— Да целую кучу денег. Может, аж двадцать пять дука-
тов.

— Я дам их тебе. Поехали.

— Нет, — ответил упрямый нищий, — не могу.

— Почему? Ведь ты ничего не теряешь.

— Верно, но деньги еще не все, я должен позаботиться о людях, которые постоянно, раз в неделю, открывают двери и подают милостыню. Если сегодня я не появлюсь, они будут беспокоиться.

— Не волнуйся, я все сделаю. Я пройду по домам и расскажу, что все в порядке. Да садись же — я не могу видеть, как ты бредешь в этакую даль.

И тогда переодетый посланец небес (а был это именно он!) скинул личину нищего и поздравил Элизера с тем,

что тот выдержал испытание: «В награду за это ты можешь заглянуть в свое будущее. Видишь ли, жить тебе осталось всего год. А говорю я тебе это, чтобы ты сумел с пользой распорядиться оставшимся временем и навел кое-какой порядок в своей жизни».

Элиэзер махнул рукой на свои дела и заботы и полностью посвятил себя служению Богу, да так, что ему была дана двадцатилетняя отсрочка. И пять сыновей в придачу, в том числе Зуся и Элимелех.

Однажды ночью (в ту пору их мало кто знал, они бедствовали и трудились без устали) братья оказались на деревенском постоялом дворе без гроша в кармане, в то время как там справляли свадьбу.

Пьяная и шумная компания негодяев, искавших новых развлечений, решила отвести душу на этих двух незнакомцах, затаившихся в темном углу за очагом. Схватили они почему-то именно Зусю. Его заставили вертеться и ковылять и, прежде чем отпустить, жестоко избили. Часом позже они взялись за него снова. Так продолжалось чуть ли не до ночи.

— Почему достается тебе, всегда тебе? — прошептал Элимелех.

— Такова Божья воля, — слабо простонал Зуся.

— Знаешь, что мне пришло в голову? Давай поменяемся местами. Они до того пьяны, что не заметят. Вот увидишь, в следующий раз они возьмутся за меня, а ты сможешь немного отдохнуть.

Он ошибся. Когда пришло время, один из пьяных воскликнул: «Глядите, да их там двое. А мы-то чествуем все одного и того же. Это же несправедливо! Ну-ка, возьмемся за его дружка...»

Потом Зуся сказал брату: «Понял? От нас ничего не зависит: мы бессильны. Все записано».

Этот анекдот — прекрасная иллюстрация к жизни Зуси и Элимелеха — великих деятелей галицийского хасидизма конца 18 столетия. Всю свою жизнь Элимелех стремился реализовать себя через страдание, — но оно, зло насмехаясь, ускользало от него. А вот Зуся, которому от жизни постоянно доставались одни удары, которого постоянно

мучил Тот, Кто дарует жизнь, почитал себя счастливейшим из людей.

Зуся — живописнейший, колоритный тип, которому поклонялись, словно святому, прославленный как цадик и любовно поминаемый как «Божий дурачок». Его младший брат — прирожденный лидер, основатель важнейшего течения. Без каждого из них хасидизм выглядел бы иначе. Вдвоем они сформировали его будущее. Отныне всякий рабби, желающий сохранить лояльность, должен был быть и рабби Зусей — воплощением кротости, смирения, наивности, и рабби Элимелехом — олицетворением власти и могущества. Оба эти образа, столь далекие друг от друга и внутренне столь близкие, навсегда сохранят живую притягательность в памяти хасидизма.

В этой паре Зуся был первым, кого привлек хасидизм — причем скорее образом жизни, нежели доктриной — и ему долго пришлось убеждать Элимелеха в своей правоте, чтобы увлечь и его. Когда он, наконец, преуспел, братья стали неразлучны.

Вместе испытали они благоговение, страх и восторг Межирича, вместе были приняты Великим Маггидом, нарекшим их своими учениками, вместе приняли они решение провести три года в затворничестве и воздержании, дабы очистить мысли и душу, вместе измерили они шагами всю Польшу, «сея искры» и «разжигая огонь» везде, где проходили.

По хасидским легендам, место, где они останавливались хотя бы на ночь, делалось частью хасидского царства. Существует удивительное предание о том, как два брата наведались в маленькую деревушку около Кракова, чтобы в ней заночевать. Внезапно они почувствовали беспокойство, ими овладело неудержимое желание покинуть это место. Хотя спускались сумерки, они пустились в путь и провели ночь в дороге. Название этой безвестной деревушки — Освенцим.

Ученики Маггида, они вполне могли знать его собственного Учителя. Когда Баал-Шем умер, Элимелеху было 43 года. И он, и брат имели много возможностей покинуть свою родную Литву и отыскать Бешта. Однако не отыскали. Видимо, из-за того, что Литва — оплот митнагедов —

ограждалась от хасидского влияния дольше и строже, чем Польша и Украина.

Мало известно об их жизни, предшествовавшей присоединению к хасидизму. Мы знаем, что овдовевшая мать Зуся и Элимелеха, женщина глубоко верующая, хотя и необразованная (она не могла читать молитвенник, зато знала все молитвы наизусть), оказала и самое раннее, и самое сильное влияние на их развитие. Элимелех углублялся в Талмуд, тогда как Зуся был по натуре мечтательным созерцателем. Возможно, он услышал однажды речи странствующего проповедника, рассказавшего о чудесах Межирича, во всяком случае, он решил туда отправиться. Он алкал не учености или мудрости, но душевного жара и спасения. Пока Элимелех учился, пробиваясь сквозь чащи талмудических концепций и аргументов, Зуся дни и ночи скитался по лесам, распевая и танцуя во имя Бога. Брату он объяснил: «Я уподоблюсь слуге, который любит своего царя, но видеть его может только сквозь дыру в стене. А ты — словно князь, коему позволено стоять в присутствии царя, убедившегося, что ты уже овладел искусством словоупотребления». Среди учеников Великого Маггида, говорил Израэль из Рижина, рабби Зуся был единственным, кого не заставляли отвечать уроки. И вот почему: едва Маггид начинал говорить, Зуся впадал в такой экстаз и так шумел, что приходилось выставлять его за дверь. Разве мог повторить он то, чего не слышал?!

Иное дело — рабби Элимелех. Он слушал настолько внимательно, что под конец превратился чуть ли не в двойника Маггида. Подобно Маггиду, он отличался мрачностью и нелюдимостью, в то время как Зуся был воплощенная общительность. Его радостно удивлял самый факт собственного пребывания в Божьем мире. Люди запомнили Элимелеха как «высокого человека в коротком плаще с соломенным поясом». Зуся даже не заметили. Элимелех любил носить с собой часы и внимательнейшим образом наблюдал за ними, поскольку они «связывали его с временем и миром». Зуся был слишком рассеян, чтобы привязываться к какому-нибудь предмету. Один брат столь же требователен и суров, сколь другой мягок и терпим. Зуся, как и Леви-Ицхак из Бердичева, не умел искать изъяны в других;

его брат хотел, чтобы все люди были безупречны. Элиме-
лех проповедовал строгость, Зуся отстаивал сострадание.
Различные во всем, они были соединены легендой. Нельзя
упомануть одного, не вспомнив при этом другого. Элиме-
леха боялись, Зусю любили. Страх и любовь — два чувства,
которые должен внушать цадик.

Разумеется, Зуся не лез в цадики. Он предпочитал оста-
ваться неудачником, жертвой жертв, вечным ребенком.
Будучи одним из самых близких к Маггиду людей, он не
напяливал на себя корону, не держал двора и не имел соб-
ственных хасидов. Но если уж несчастью суждено было
разразиться, то скорее всего оно падало именно на его го-
лову. Почести он презирал, ему нравилось восхищаться, а
не быть объектом восхищения, и нищета бедняка прельщала
его больше скупости богача.

Богатому поселянину, предложившему обоим — теперь
уже знаменитым — братьям свой удобный вместительный
дом, кто-то из них, вероятно, Зуся, ответил: «Мы не впер-
вые приходим сюда, и до сих пор всегда останавливались у
бедного мужика, который принимал нас по-братски. По-
чему ты пригласил нас только теперь? На тебя произвели
впечатление наши лошади и экипаж? Так пригласи к себе
лошадей. Мы, как и раньше, остановимся у мужика».

Другие известные братья, Шмелке из Никольсбурга и
Пинхас из Франкфурта, задали Маггиду из Межирича та-
кой вопрос:

— В Талмуде написано, что человек должен благода-
рить Бога и за хорошее, и за плохое. Не много ли спраши-
вается с человека? У кого достанет сил благословлять Бога
за то, что он наказан?

— Пойдите перекиньтесь парой слов с Зусей, — сказал
Маггид.

Зусю хорошо знали в Межириче — знали, что он болен,
обременен несчастьями и хворьями, что за душой у него ни
гроша.

— Зуся, разве можешь ты благодарить Господа? А твои
страдания?

— Мои страдания? — изумленно спросил Зуся. — А кто
страдает? Только не я. Я счастлив. Зуся счастлив жить в
мире, сотворенном Господом, благословенно имя Его. Зуся

ни в чем не испытывает недостатка, ни в чем не нуждается. Все, чего ему хочется, у Зуси есть, и сердце его исполнено благодарности.

Он даже не понял вопроса.

В другой беседе, он тем не менее почувствовал необходимость разъяснить проблему Добра и Зла и сделал это на свой неповторимый лад: «Воистину, страдания существуют. Как все на свете, они исходят от Бога. Почему же они существуют? Я скажу вам: человек слишком слаб, чтобы принять или впитать совершенное Божественное милосердие. И именно поэтому Бог закутал его в покрывало боли и страданий».

При своем чрезвычайном простодушии он просто не мог представить себе в мироздании что-либо, не служившее доказательством Божьего милосердия. Несчастья он отвергал, считая их плодом воображения. Раны открывались только для того, чтобы исцелиться. Когда жена Зуси сделала его жизнь невыносимой, он показал ей свою подушку, промокшую от слез, и она раскаялась и изменила свое поведение к лучшему. Нет понапрасну пролитых слез, нет неслышанных молитв. Если можно растрогать женщину, неужто Бог останется непреклонным? У человека нет поводов для жалоб.

Как-то на постоялом дворе он увидел птиц в клетке. Естественно, он их освободил. Птицы должны летать. Естественно, хозяин рассудил иначе и молча преподал ему урок. Что с того? Зуся снова в пути, тело ноет, но дух, гордый и беззаботный его дух ликует. Человек создан для того, чтобы быть счастливым, даже когда его измученная плоть вопит от боли.

Присущая ему способность к счастью равнялась лишь смирению Зуси. Однажды слышали, как он вздыхал: «Я недостойн возносить Тебе молитвы. Я недостойн даже плакать перед Тобой. Вместо этого, слушай, — я посвищу. Только и всего».

Себя он считал худшим из грешников и полагал — если ему дано жить так долго, то для того, чтобы бесконечно терпеть, страдать и искупать свою вину. Говорят, каждый день он записывал свои дела и размышления в маленькую

книжечку, а вечером перечитывал и плакал до тех пор, пока слезы не смывали следы его записей.

Менахем-Мендл сказал о нем: «Подобно тому, как существует гений науки, существует гений смирения. Я имею в виду рабби Зусю».

У него был тайный приверженец и благодетель, который время от времени подсовывал ему несколько серебряных монет. С тех пор как он стал так поступать, дело его процветало. Тогда он подумал: если этот бедолага Зуся может столько сделать для меня, почему бы не сходить к его Учителю, — от него, разумеется, пользы будет еще больше. И он принес пожертвование Маггиду из Межирича. На-завтра его дела ухудшились. Сбитый с толку, он разыскал рабби Зусю, и тот растолковал ему: «Раз человек одаривает других, не делая между ними различия, не делает различия и Бог; но коли человек выказывает себя привередливым, Бог поступает так же...»

Перед смертью рабби Зуся сказал: «Когда я предстану перед небесным судом, никто не спросит меня: «Зуся, почему ты не был Авраамом, Яковом или Моисеем?» Меня оглядят и спросят: «Зуся, почему ты не был Зусей?»

Его брат представлял себе аналогичную сцену, наделяя ее более оптимистическим финалом: «Меня спросят, был ли я справедливым. Я скажу: «Нет». Посвятил ли я жизнь уче-нию? Нет. Молитвам, может быть? Тоже нет. И тогда Су-дия Праведный улыбнется и скажет: «Элимелех, Элимелех, по крайней мере, ты правду говоришь — за одно это ступай в Рай».

С появлением рабби Элимелеха хасидизм вступает в новую фазу. Открывается эра цадиков. Не то чтобы он был первым или единственным цадиком. У Маггида из Межирича насчитывалось много последователей, и каждый по-своему, в собственной сфере, стал его преемником. Но именно рабби Элимелех развил концептуальное представление о роли цадика и придал ему если не теоретическое обоснование, то хотя бы трансцендентные формы.

Время: последнее десятилетие 18 века. На поверхностный взгляд, все обстоит благополучно. Движение выстояло после смерти и своего основателя (в 1760 году) и своего

организатора — Маггида из Межирича (еще 12 лет). Если вначале приходилось опасаться того, что хасидизм сконцентрируется на одной фигуре, одном лидере, то теперь эта опасность исчезла. Движение достаточно окрепло, чтобы выдержать первые распри среди претендентов на престол, покинутый сперва Баал-Шемом, затем Маггидом. Маггид вынужден был преодолеть активное сопротивление, предшествовавшее утверждению его власти. Его преемники, ввиду своей многочисленности, не сталкивались с такой проблемой. Теперь хасидизм имел несколько центров, и все они процветали. Маггид добивался децентрализации, исходя из соображений, так или иначе связанных с еврейской политикой, а не международными отношениями. События подтвердили правильность его предвидения. С одним-единственным организационным центром, возглавляемым одной-единственной личностью, хасидизм не смог бы пережить серьезных и затяжных кризисов, охвативших всю Европу уже в 1772 году — в год смерти Маггида.

Польша была расчленена тремя соседями: Россией, Пруссией и Австрией. Еще раз еврейские общины рассредоточились по только что возникшим геополитическим образованиям, встав перед лицом как внутренних, так и внешних проблем. Тот факт, что каждая область, а во многих случаях каждый город или местечко получили собственного руководителя, на которого могли полагаться, несомненно, помог хасидизму, продолжавшему одновременно распространяться по разным направлениям, сохранить свой первоначальный импульс. Один Учитель просто не смог бы справиться с таким количеством разнообразных потребностей.

Элимелех обосновался в Лизенске в 1777 году, где и умер через 11 лет. За этот период Лизенск превратился в одну из столиц хасидизма. Среди учеников Элимелеха можно найти столь знаменитых людей, как Святой Люблинский Ясновидец, Менахем-Мендл из Риминава, Маггид из Кожниц, Рабби из Апты.

После основателя — Баал-Шема — и архитектора — Великого Маггида — пришел Элимелех — учитель, практик, сумевший перевести абстрактные концепции на простой язык простых людей.

Что же такое цадик согласно представлениям, выработанным в Лизенске?

Реббе, рабби — руководитель, увещеватель, наставник; цадик — это высокий аспект человеческого «Я». Он то, чем человек хочет и может быть. Он избранник, которому ни в чем нет отказа ни на небесах, ни на земле. Бог гневается? Он заставит Его улыбнуться. Бог суров? Он заставит Его смягчиться. Последователи цадика обязаны слепо и беспрекословно верить ему. *Эмунат цадиким* (вера в рабби) — один из основных принципов Лизенского хасидизма. Колеблющимся и уклоняющимся помочь нельзя. Задавать рабби вопросы хуже, чем грешить, ибо это разрушает самые узы, связующие вас с ним. Если поведение и повадки цадика кажутся странными, — значит хасид не способен его понять. Диалектический подход Элимелеха столь сложен, что взаимоотношения цадика с внешними сферами так и не получили отчетливого определения, но простой смертный не должен подвергать сомнению их существование или их действенность. Предпочитает ли цадик петь или смеяться, улыбаться или хмуриться, открыться людям или погрузиться в размышления — он знает что делает, — и этого достаточно. Требуется не понимать, а восхищаться — вот и все. Пусть, избрав нищету, он принимает дары, пусть симулирует радость, проводя ночи в сетованиях и рыданиях; пусть он кичится смирением — никто не смеет возражать. Как бы он себя ни вел, он делает это правильно, и делает для тебя. Высшее, почти совершенное существо — подразумевается, что его жажда совершенства уже почти тождественна совершенству. Его таинственное могущество призвано искупить грехи поколения. Что бы ни предпринимал цадик, он выходит за рамки собственной личности. Его страдания сообщают смысл всякому страданию, и когда он ест, он очищает самый акт приема пищи.

«Если бы мне дали побыть одному, если бы меня оставили в покое на два года, — сказал рабби Элимелех, — я бы сумел вызвать Мессию».

Подобно Баал-Шему и Великому Маггиду из Межирича, Элимелех связывал индивидуальное спасение со всеобщим. Цадик призван играть важнейшую роль в драме человеческой, так же как Мессия — в драме вселенской. Эти

две роли не идентичны, но родственны. Разве в противном случае цадик нес бы ответственность за то, что Мессия не приходит? Следуя примеру обоих своих предшественников, Элимелех, говорят, собирался совершить путешествие в Святую Землю — и тоже отказался от паломничества: времена отнюдь не благоприятствовали осуществлению этого замысла.

Его аскетизм, его самоистязания легендарны. «Кто покакает своим слабостям, умрет нераскаившимся», — категорически утверждал Элимелех. Иногда он велел своему слуге сопровождать его в лес: «Пошли, накажем бунтовщика». А вдали от посторонних глаз приказывал слуге хлестать его плетью: «Я и есть бунтовщик».

Однажды он заметил: «Сколько людей является ко мне с просьбами! Один молит о здоровье, другой о хлебе, третий о лучшей жизни. Почему они приходят ко мне? Потому что, воистину, я несу ответственность за их болезни, за их голод и за их несчастья».

Значит ли это, что уменьшается личная ответственность хасида? Конечно, нет. Она только смещена. Он ответствен за то, что происходит с цадиком, за его кризисные состояния, за его душевные муки. Один нуждается в другом. Ибо цадик представляет потенциал человека: он — все то, чем каждый хасид хочет быть, мог бы быть. Ведь каждому человеку отпущена возможность достичь совершенства. И своим положением цадик обязан себе самому. Кто работает над собой достаточно долго, достаточно упорно, разобьет сковывающие его цепи. Происхождение не имеет никакого значения. Потомок Баал-Шема ничуть не лучше любого другого человека. Как и Баал-Шем, Элимелех оставил свой трон не сыновьям, а ученикам, ни один из которых не имел других титулов, кроме тех, что приобрел сам. Каждый хасид волен стать цадиком, надо только постараться. Потерпев неудачу, он может обратить взор на другую возможность: трудиться для спасения, связав себя с цадиком, который таким образом становится его вторым «Я». Не сделавшись цадиком, он станет хасидом, и тогда его наставник будет цадиком в той же степени, в какой сам он — хасидом. Впрочем, совершенный хасид достойнее цадика, а последний в этом случае лишается права на звание.

Взаимоотношения хасид — цадик поэтому и строятся на взаимном доверии, которое, преодолевая сомнения, укрепляет веру в Бога.

Вера в Бога была в Лизенске столь непоколебима, что рабби Мендл из Риминова, гласит предание, однажды отказался подобрать с земли золотую монету. «Если бы Бог хотел, чтобы у меня была эта монета, — подумал он, — мне не нужно было бы поклоняться, я получил бы ее и без этого».

Именно потому, что хасид верил в Бога, он верил в цадика — в того, кто, согласно условиям их молчаливого соглашения, должен приблизить его к Богу. Лизенская школа иллюстрирует эту взаимосвязь библейским стихом: *Ва-ямину бе-ха-Шем у-ве-Моше авдо* — и они веровали в Бога и в его в слугу Моисея. Поскольку они верили в одного, они могли верить в другого, и потому сподобились чуда перехода через Чермное море. Потому они и позволили Моисею говорить и петь от их имени: *Аз яшир Моше* — и вот тогда Моисей запел. Запел? Как, разве Моисей не был заикой? Да, но он мог петь, говорят хасиды, ибо его люди верили в него. Таким образом, вера в цадика превращает людей в его сподвижников и наделяет их долей ответственности за существование той всемогущей и всеведущей личности, какой цадик является. Когда рабби Элимелех сказал: «Я помню сцену откровения на Синае и помню не только себя, там стоящего, но и души слева и справа от меня», — то это не только феномен памяти, — Элимелех возвышал другие души, связывая их со своей собственной. Поскольку цадик говорит не только от своего имени, он пользуется признанным авторитетом и имеет большую власть на небесах. Талмудическое изречение: *Ха-цадик гозер ве-ха-Кадош мекаем* — праведник приказывает, а Господь осуществляет — в Лизенске понимали буквально. Элимелех, оплошно или бессознательно, уподоблял цадика праведнику, которому повинуется Господь — его слуга. Уподобление, вызвавшее нареkania даже среди лиц, наиболее к нему приближенных. Можно ли это истолковать в другом контексте иначе, нежели богохульство? Да можно, утверждали в Лизенске, поскольку Бог пребывает всюду, и каждое действие берет начало в Его воле, включая «приказы» цадика, — иными словами, даже обращаясь к Богу, он всего лишь выполняет Его волю.

Понятно, почему в Лизенске даже больше, чем в Межириче, велась борьба с гордыней: ведь от одной искры нелепого, глупого тщеславия может погибнуть все здание хасидизма, несмотря на первоначальные успехи.

Нет ничего хуже гордыни: она подстрекает человека узурпировать место Создателя, учил своих последователей рабби Элимелех.

Рабби Зуся спросил у брата: «Написано, что душа Адама включала в себя все остальные души, стало быть, и наши тоже. Как же получилось, что ты ничего не сделал, дабы удержать Адама от греха?»

И рабби Элимелех ответил: «Если бы Адам не согрешил, мог бы возгордиться».

В *микве* Элимелех встретил еврея, пришедшего из Венгрии провести субботу под его крышей. «Так ради этого пустомели, лентяя, мошенника и лгуна, этого лжерабби ты взял на себя труд тащиться в такую даль?» — спросил неузнанный цадик у посетителя. «Да как ты смеешь? — рассерженно завопил венгерский еврей. — Как смеешь ты поносить светоч и святость Израиля?»

Вечером они встретились снова, на этот раз в доме Учителя, в присутствии его многочисленных учеников; ошеломленный, гость зарыдал, умоляя о прощении: «Я не знал, Святой Учитель, я не знал...» «Утри слезы, — сказал ему рабби тихо, — ты поведал мне свою правду, я тебе — свою...»

Имеется несколько сходный анекдот, в котором выведен Зуся. Где-то на постоялом дворе богатый постоялец принял его за попрошайку и обошелся с ним соответственно. Позже, узнав, с кем имеет дело, он засовестился и стал умолять: «Простите меня, рабби, простите, вы должны это сделать, ведь я не знал...» «Почему ты просишь прощения у Зуси? — покачав головой, улыбнулся рабби. — Ты не сделал ему ничего плохого. Не Зусю ты оскорбил, а нищего. Так иди же, и где бы ни повстречал ты нищего, проси его о прощении».

Оба ответа звучат одинаково, хотя сдается, что один из них скромнее. Элимелех был более сложным, брат же его — цельным человеком. Зуся всегда оставался Зусей и никогда не стремился стать кем-либо другим. Элимелех хотел быть

сразу и Элимелехом, и Зусей; потому-то он мог одновременно проповедовать жизнелюбие и практиковать аскетизм, тянуться к вещественным символам — и обличать власть, класть руки в пламя — и вместе с тем осуждать умерщвление плоти. Как и большинство будущих цадиков, он жил двойной жизнью. На словах он следовал по пути, намеченному Баал-Шемом, но втайне исследовал лабиринты страданий и боли. И все же никогда не доходил он до того, чтобы вовлекать в эти изыскания обычных хасидов. В его школе учили цадиков Апты, Сасова, Люблина, Ропчиц, Риминова, Кожница иному — вседоступности. Их учили принимать участие в жизни своих хасидов. Вникать в их дела, помогать в делах матримониальных, сглаживать противоречия, гасить ссоры, собирать деньги для уплаты долгов. Элимелех учил их искусству наставлять на путь истинный в тяжкие времена нужды и горя и умению расшевелить благодушных, самодовольных людей. Лизенск призывал как учителя, так и ученика к действию. «Одиночество — не выход, — говорил Элимелех. — Обособливать надлежит не жизнь, а мысли». Приобщение к жизни ближнего — вот что на деле означал Лизенск. Рабби Захария-Мендл писал: «В Лизенске хасиды любят друг друга больше, чем мужья жен и отцы сыновей. Хасиды живут в гармонии, помогают друг другу во всем, делятся всем, что у них есть. Включая страх и надежды...»

Элимелех обращал внимание своих хасидов не столько на каббалу или теологию, сколько на *цетл котен* — короткий перечень каждодневных дел: когда вставать, когда молиться, когда работать, когда уединяться, когда находиться с людьми. Словом, программа из 17 пунктов, указывающая, как быть хорошим евреем при минимуме усилий. Теология предоставлена цадикам. Хасиды же нуждались в простых ответах на очень и очень непростые вопросы.

Связь Элимелеха со своими последователями была настолько тесна, что тех сразу опознавали. Тот, кто видел его и тот, кого замечал Элимелех, в глазах своих уносил его отображенный образ.

Никому не дано было пройти через Лизенск не изменившись.

Однако не довелось Элимелеху вкусить блаженства безмятежной старости. Слишком уж он преуспел, слишком

уж обильные плоды приносило его учение. Он, желавший, как и его Учитель, обеспечить возможно большему числу общин возможно большее количество руководителей, неожиданно отстал, оказался не у дел. В отличие от Маггида, Элимелех, видимо, поддался чувству ревности. Он, который помог своим ученикам стать цадиками, теперь не мог смириться с их успехом. Он, который сам убедил своего любимого ученика Якова-Ицхака — будущего Люблинского Ясновидца — высвободиться из тисков авторитета Учителя и встать на собственный путь, — ныне сожалел об этом. Яков-Ицхак, осевший в маленьком местечке Ланцхут, привлек к себе лучшие силы Лизенска. Легенда донесла до нас душераздирающий вопль великого старца: «Я хочу жить, я еще хочу жить!» Он слал в Ланцхут посланцев, то требуя, то убеждая, то вымаливая отсрочку выполнения приговора. Пусть Яков-Ицхак подождет — всего несколько месяцев, ну самое большее несколько лет — и я возвышу его, возвышу даже над собой. Поздно. Яков-Ицхак уже вошел в хасидскую историю. Тогда Элимелех попросил его по крайней мере переехать куда-нибудь подальше — слишком близок Ланцхут к Лизенску. Яков-Ицхак не нашел в себе сил отказать. Он переехал в Люблин, где и снискал славу, получив прозвище «Святой Ясновидец». Разрыв между Лизенском и Люблином, как ни грустно, стал окончательным.

Хасидские ученые затратили массу усилий, пытаясь объяснить и даже оправдать этот разрыв, уподобляя его «разрывам», давным-давно имевшим место между пророком Илией и его преемником Елисеем и между Моисеем и Иисусом Навином. Они говорят: Ясновидец понял, что старый рабби Элимелех был слишком свят для нового поколения, а ученик, дабы показать, чего он стоит, должен разорвать узы, связывающие его с Учителем. Моисей и Иисус, Илия и Елисей не могли править вместе, точно так же не удавалось это Элимелеху из Лизенска и Святому Ясновидцу из Люблина.

Слишком легкое, да и ненужное объяснение. Иудаизм никогда не добивался монолитности. Его учения — сумма, синтез; они представляют все течения, все направления: и Учителей и учеников. Единожды данную Тору получают

тысячи раз тысячами способов, и каждый человек украшает ее по-своему.

Причины обиды рабби Элимелеха на Люблинского Ясновидца следует искать не в теориях, а в человеческой натуре. Ибо ревность — любая ревность (даже Учителя к ученику) — свойство общечеловеческое. И мучительное. Хасидские летописи упоминают о нем со смущением и горечью. Элимелех предстает перед нами неузнаваемым, словно подмененным — ожесточенным, раздражительным, разбитым физически. Он отказывается от пищи, от контактов с внешним миром. Он еле разговаривает, а после *Маарив*, вечерней службы, полностью безмолвствует. Повсюду ему мерещатся измены, мерещится, что он окружен шпионами; он не доверяет даже самым преданным почитателям, обзывает их льстецами и лицемерами.

Однажды ночью, едва закончилась суббота, он кинулся проверять, дома ли некий рабби Давид. Позже рабби Давид, прошедший субботу с Ясновидцем, оправдывался: «Я думал, что ежели заберусь к нему на плечи, то смогу дотянуться до вас, рабби». Но Элимелеха не проведешь! И легенда заканчивается довольно жестоким сообщением, что рабби Давид за предательство был наказан. Он умер на следующий год.

Похоже, Элимелех озлобился и на своих собственных детей, хотя они лелеяли его и преданно охраняли отцовский трон. Он ничего им не оставил: «Пусть будут бедняками, пусть живут подаянием, и если они сами ничего не достойны, то пусть ничего им и не подадут».

Когда в 1786 году он умер, то забрал с собой Лизенск... Город исчез с географической карты, с тем чтобы навсегда войти в легенду.

И все же, несомненно, в нем было величие. Лишь несколько школ могут быть поставлены рядом с его школой. Ученики Элимелеха (все — основатели династий) преклонялись перед ним. И даже Ясновидец не отрекся от своего Учителя, так же как впоследствии от него, Ясновидца, не отрекся его собственный ученик — еврей из Пшисхи, покинувший Люблин, чтобы основать свою собственную школу и поднять собственный бунт.

Но это уже другая история.

УЧЕНИКИ

Только чудом великий чудотворец рабби Исраэль, Маггид из Кожниц, остался жив. Измученный, истощенный, ослабевший настолько, что его в течение пятнадцати с лишним лет приходилось вносить в синагогу, он восстанавливал силы только во время молитвы. Тогда он становился совершенно другим человеком. Он пел, плясал, словно к нему возвращалась молодость. Остальное время он проводил в постели, под тяжелыми шерстяными одеялами. Кругом толпились ученики и почитатели, за которых он в случае надобности вступался, и часто с успехом. В качестве чудотворца он не знал себе равных.

Исцелитель души и тела, он «одарял» детьми бездетные пары, распределял богатство людей состоятельных среди бедняков, утолял печаль и страдания умирающих и успокаивал тех, кто их оплакивал. Для евреев и неевреев он был последним шансом, последней надеждой.

Говорят, князья и генералы стучались в его дверь перед тем, как идти на войну или принять важное решение. Те, кто верил в него — а таких было множество, — ничего не предпринимали без одобрения рабби Исраэля. Издалека приходили они, чтобы увидеть его хоть на мгновение. Некоторые считали его вторым Исраэлем Баал-Шем-Товом.

Рассказывают:

«Почувяв приближение смертного часа, Элимелех из Лизенска объявил свою последнюю волю. Мендлу из Риминаова он завещал свой мозг, Иехошуа Гешелю из Апты — язык, Якову-Ицхаку из Люблина — зрение, а Исраэлю из Кожниц — свое сердце.

Этим и стал Маггид из Кожниц: сердцем своего поколения».

Он изрек: «Что есть человек? Горсть праха, обреченная на исчезновение. А между тем — вот, он обращается к Богу, и притом, словно к старому знакомому. Разве это не заслуживает благодарности?»

И еще: «Человек, взыскующий высот, должен достичь их посредством других людей, с их помощью и помогая им. Если все сыны Израилевы возьмутся за руки, эта цепь достигнет престола небесного».

И еще: «Каждый человек обязан выводить себя из Египта ежедневно».

Женщина просила помолиться за нее: ей хотелось ребенка. «Моя мать была такой же несчастной, вроде тебя, и по той же причине, — сказал он ей, — пока не встретила Баал-Шем-Това. Она подарила ему плащ, и на следующий год я родился». «Спасибо тебе, — воскликнула женщина радостно, — я поступлю так же, как твоя мать. Я принесу тебе наипрекраснейший плащ, какой только сумею разыскать». Маггид улыбнулся: «Не стоит. Тебе это не поможет. Видишь ли, моя мать не знала этой истории».

Во сне посетил его прародитель человечества Адам: «Ты жаждал очищения, ты молился за себя, и молитва твоя была услышана. А теперь я хотел бы, чтобы ты помолился за меня».

Маггид говорил: «Величие Торы заключается в том, что она преобразует каждый новый день, всякий раз доставляя самое огромное, самое главное удовлетворение».

В юности он допоздна засиживался за занятиями. Отец же, подозревая, что он проводит время в развлечениях, картежничая или попросту болтаясь по улицам, жестоко наказывал его за безделье. Израэль молча сносил удары.

Позже его, уже знаменитого рабби, спросили, почему он не произнес ни слова в свое оправдание.

«Не каждому дано пострадать за Тору», — объяснил он.

Самого себя он считал Божьим вестником: «Пошли меня куда угодно, делать что угодно, я готов, вот я».

Его (да, кстати, и моя) любимая молитва, которую он читал чаще всего: «Владыка вселенной, Ты знаешь, что сыны Израиля непомерно страдают. Они достойны спасения. Но если, по причинам, мне неизвестным, Ты еще не желаешь этого, то спаси, по крайней мере, все остальные народы, и сделай это поскорее».

Их называли «Святые братья»; старший, Самуил, прозванный Шмелке, был рабби в Никольсбурге, а Пинхас — во Франкфурте.

Когда на церемонии его вступления в должность именитые люди города превозносили добродетели рабби Пинхаса, странное выражение появилось на его лице:

— Что с вами? — спросили его.

— У меня странное ощущение — словно я присутствую на собственных похоронах, — ответил он.

Во время аналогичной церемонии в Никольсбурге люди заметили, как Шмелке тихо бормочет: «Приказываю языку повторить то, что слышат уши, и получается полная галиматья...»

Оба брата пользовались необычайным уважением, и не только в хасидских кругах — вопреки херему, наложенному на учеников Маггида из Межирича, ученость братьев, равно как и их новаторские работы в области Галахи были слишком хорошо известны, чтобы попытаться изгнать их из общины.

Но легенда вспоминает их не как ученых, а как учителей хасидизма.

Рассказывают:

«Давным-давно жил на свете служка, в обязанности которого входило будить верующих и созывать их на молитву. Будучи от природы человеком слабым и болезненным, он, вместо того чтобы шуметь что есть мочи, чуть слышно скребся в дверь или окно. Люди же вскакивали с постелей, будто от грома небесного, и мчались в синагогу. «Это у меня от рабби Шмелке, — говорил служка, много лет назад он научил меня искусству потрясать душу людей без всякого шума».

Кто приходил к рабби Шмелке с пустыми руками, покидал его, нагруженный подарками. Однажды у него не оказалось мелочи, и он дал нищему кольцо, лежавшее на столе. Оно принадлежало его жене, и та воскликнула: «Да как ты мог! Бесценное брильянтовое кольцо...»

Тут же Шмелке выскочил из дома и помчался в ту сторону, куда скрылся нищий, крича во все горло: «Эй, друг! Это очень дорогое кольцо! Смотри, не позволяй ювелиру надуть тебя! Не продавай его за гроши!»

Он сказал: «Богатому нужен бедный больше, чем бедному богатый. К несчастью, ни тот, ни другой этого не понимают».

Рабби Шмелке рассказывал: «Руководствуясь талмудическим изречением «Если все люди раскаются, явится Мес-

сия», я решил что-нибудь для этого сделать. В успехе я не сомневался. Но с чего начать? Мир так огромен. И я решил начать с моей страны, которую я знаю все-таки лучше. Но страна моя тоже слишком велика. Начну-ка я с моего города. Но мой город такой большой. Самое лучшее начать с моей улицы, нет, с моего дома, нет, с семьи. А, пожалуй, начну-ка я лучше с самого себя».

В сопровождении своего ученика Моше-Лейба из Сасова он посетил Вену, где удостоился аудиенции у императрицы Марии-Терезии.

— Почему ты не смотришь мне прямо в глаза? — осведомилась государыня.

— Я не могу оторвать глаз от земли, Ваше Величество. Я обязан ей больше, нежели вам. Земля дает нам человека и берет его обратно.

Перед кончиной он просил своих последователей не плакать: «Смерть мне уже знакома. Ибо душа моя — это душа пророка Самуила. Подобно ему, я левит; подобно ему, я умру в возрасте 52 лет. Только его звали Самуил (на иврите Шмуэль. — *Прим. пер.*), а я останусь Шмелке, но разве стоит скорбеть из-за этого?»

И испустил последний вздох.

Рабби Яков-Ицхак был почти незрячим, но в Люблине его звали Ясновидцем. Между приступами уныния он проповедовал радость. Он председательствовал в Королевском суде, но сам служил беднякам. От его учеников (по преданию, их насчитывалось четыре сотни) требовалась строжайшая дисциплина, им не позволялись никакие вольности, хотя сам он в годы ученичества не раз восставал против установленных порядков.

Он наводил тревогу и страх. По воспоминаниям очевидцев, он пугал людей. Его странные асимметричные глаза (огромный правый, еле заметный левый), казалось, видели «от одного конца земли до другого», проникая в сокровеннейшие глубины души. Один взгляд на человека говорил ему, чей он потомок: Каина или Авеля. Но дар этот был бременем для него, это он заявлял при всех. Он не желал видеть того, что мир мог ему показать. Он ненавидел свои глаза. Говорят, в юности он решил прожить семь лет с

закрытыми глазами. И что он прогуливался по лесам и сидел на муравейниках.

А однажды, поднявшись на вершину высокой горы, попытался броситься в пропасть.

— Но почему, дедушка?

— Не старайся понять. Ясновидца или любят или нет. Но не пытайся понять, почему.

— Кто спас его?

— Друг. Он успел схватить его за пояс.

Помолчав, дед добавил:

— Ясновидец никогда не простил ему этого.

Однако, несмотря на приступы уныния, авторитет Ясновидца у последователей постоянно рос, и его влияние усиливалось от субботы к субботе. Люди приходили в Люблин учиться, размышлять, каяться, по-новому устраивать свою внутреннюю жизнь. Одни приходили и уходили, другие оставались.

А Ясновидец сказал: «Странно. Приходя ко мне издаля, люди исполнены печали, возвращаясь домой — веселы и уверены в себе. А я... — долгая пауза — ...я остаюсь сумрачным. Мой огонь не светит».

Но этого его последователи не знали и не желали знать. Возможно, так им было легче. Им было довольно и того, что огонь пылает.

Ученики, которых он вел по пути совершенствования, любили его, и их восхищение граничило с поклонением. Одного из них спросили: «Вас было так много, вы были так могущественны, и у вас был такой удивительный Учитель, почему же вы не смогли заставить Мессию явиться?» Без тени улыбки ученик ответил: «Правильный вопрос. Но видите ли, в Люблине мы жили в таком экстазе, что едва чувствовали ужас изгнания».

Невероятная сила внушения, присущая Ясновидцу, выходила за рамки представлений о человеческих возможностях. Борьбу свою он вел в одиночку, победы делил со всеми учениками и последователями.

Отсюда, возможно, и тот престиж и уважение, которыми он пользовался. Маггид из Кожниц и Менахем-Мендл

из Риминаова принадлежали к числу его союзников, Бер из Радошиц и Нафтали из Ропчиц оставались его преданными поклонниками. Даже Барух из Меджибожа выказывал ему любовь. Принимая его у себя дома как-то в субботу, он спросил: «Говорят, ты ясновидец: скажи, где же мы?» И цадик из Люблина ответил: «Я вижу и нас в Святой Земле. Вот мы приближаемся к Иерусалиму, сейчас мы вступим на святой порог».

И перед глазами обоих возник город, с башнями и стенами, масличными деревьями и журчащим фонтаном.

Известно, что в минуту отчаяния он горестно прошептал: «Горе поколению, чей вождь — я». А еще говорил он: «Люди приходят ко мне потому, что я не понимаю, зачем и почему они приходят». И еще: «Злого человека, знающего, что он зол, я предпочитаю праведнику, сознающему свою святость».

Предъявляя к человеку требование всегда оставаться самим собой и «не вспахивать соседское поле», он сказал: «Есть много дорог, ведущих к совершенству. Каждому дано выбрать свою. И неустанно следуя по ней, мы можем сделать ее дорогой правды, дорогой нашей единственной истины».

Лучший ученик Ясновидца, Еврей из Пшисхи, поймал его на слове — и оставил Учителя. И так, круг замкнулся. Как и его собственный Учитель, Элимелех из Лизенска, Ясновидец в свой черед был обойден, покинут, предан.

Но, в отличие от Элимелеха, он продолжал борьбу. Вместо того чтобы переживать свою личную трагедию, он с удвоенной энергией вернулся к работе. Более того, его цель получила новое, универсальное измерение. Он желал — ни более ни менее — положить конец всем войнам, всем конфликтам, он хотел покончить с изгнанием.

С двумя своими друзьями и союзниками — Маггидом из Кожниц и Мендлом из Риминаова — он разработал подробные планы насчет того, как совместными усилиями добиться конечного избавления. Задачи были распределены, роли розданы и тайна надежно хранима. К сожалению, этот мистический заговор потерпел неудачу. Все три заговорщика, наказанные Богом, умерли в течение одного года (1814—1815).

За шесть месяцев до смерти Ясновидец, размышляя в одиночестве, выпал из окна: загадочное падение, которое приписали небесному проклятию.

«Это работа Сатаны, — уверял меня дед, — это Сатана мстил ему». Вообще же дед, очень любивший Ясновидца, считал, что тот слишком близко подошел к своей цели. Сатана не мог не желать его гибели. Здоровое предположение. За исключением того, что гипотеза совершенно упускает из виду раннюю попытку самоубийства будущего Ясновидца, его болезни, а также время его падения: оно пришлось на канун Симхат-Тора.

Жизнь Ясновидца принадлежала толпам, ему поклонявшимся, — сказал дедушка. — Его смерть принадлежала только ему одному. Нужно относиться к ней с величайшим почтением и осторожностью».

Что же, быть по сему. Пусть легенда победит еще раз. Сатана — очевидный злодей и преступник. Он все объясняет и ничего не решает. В конце концов, именно он толкнул Ясновидца и спровоцировал его падение. Ничего удивительного — одинокие люди притягивали его.

...На улицах Люблина звучали песни и танцы. Толпы людей радовались, пьянея от воспоминаний и надежд.

На земле, корчась в муках, лежал побежденный Ясновидец. Празднество было в самом разгаре...

ИСРАЭЛЬ
ИЗ РИЖИНА





Когда Израэль Баал-Шем-Тов почувствовал приближение смертного часа, он пообещал собравшимся у постели ученикам по прибытии на небеса употребить все свое влияние, дабы ускорить пришествие Мессии.

Когда душа его достигла небес, он выразил желание встретиться с Избавителем. Желание было удовлетворено: ни в чем нельзя было отказать Баал-Шему. Но встреча привела его в такой восторг, в такое воодушевление и вознесла его душу на такие высоты, что он позабыл обещание.

Его преемник, Великий Маггид из Межирича, знал об этой неудаче и преисполнился решимости не попасть в ту же ловушку. «Я найду способ уберечься от забвения, — дал он обет перед тем, как покинуть этот мир. — Я не стану настаивать на свидании с Мессией. Я встречу со всеми, кроме него, и тогда он спустится на землю».

Но наверху обезоружили Маггида, превратив его в ангела, и он тоже забыл о том, что сулил людям здесь, внизу.

«Я не допущу, чтобы со мной случилось такое, — обещал Леви-Ицхак из Бердичева. — Не уступлю искушению и не подчинюсь никакому приказу. Я откажусь войти в Рай, откажусь покинуть человеческую историю. Я начну надоедать Судие судий, Отцу всего сущего. Я разьясню Ему

Его обязанности перед Его детьми, которые не столь упрямы, как Он сам. Я буду говорить, буду кричать...»

Он наделал много шума и, действительно, оказал изрядное сопротивление. Озадаченным ангелам пришлось применить силу, чтобы заставить его войти в Рай.

«Не беспокойтесь, — сказал Израэль из Рижина, помянув эту историю, — не бойтесь, говорю вам. Я буду сопротивляться успешней. Я-то уж точно не забуду ни о чем».

Признаюсь, я неравнодушен к этому последнему рабби. Дед мой, будучи вижницким хасидом, ощущал внутреннее родство с Рижиним. И я тоже. Вижница — не что иное, как ветвь Рижина, а Рижин...

— *Что такое Рижин, дедушка?*

— *Рижин — это дом, полный великолепия и ежедневных чудес. Рижин — это хасидское царство, бесконечный праздник. Рижин — это Иерусалим вдали от Иерусалима.*

— *А Рижинец...*

Ностальгическая улыбка осветила его лицо. Мой дед всегда улыбался, говоря о первом рабби из Рижина, которого обычно называют «Рижинцем». И, внимая ему, мое детское сердце гулко стучало в тишине убогой комнаты.

— *В самой бедной стране жил да был король — король с лицом Рижинца. К сожалению, я не знаю его. Я родился слишком поздно. Лет через десять после его смерти... Кажется, наш рабби похож на него... Так говорят. Но... один и тот же корень питает и ствол и ветви, однако ветвь — не ствол...*

Дед перестал говорить и, чему-то улыбаясь, задремал — а я тщетно гадал, чему. Но в памяти моей его улыбка осталась связанной с Рижинцем.

Вызвать к жизни образ рабби из Рижина — значит рассказать историю тревожную, одновременно обманчиво простую и сказочно прекрасную. Историю, фиксирующую начало одной эры и конец другой. После него хасидское движение стало иным — начался неизбежный процесс упадка. Источник отдалился от нас, и внезапно мы обнаружили, что более не испытываем жажды.

Человек, движимый состраданием, старается изменить существующий порядок и принять на себя ответственность

за мир, который не он создал. Он делает шаг вперед, протягивает руку другу, товарищу, попутчику. Зарекаясь говорить о дружбе, любви, истине, он решается жить ими. Он отвергает посредственность, вульгарность, грех, ложь, простые решения. Он считает себя революционером, прокладывающим новые пути для тех, кто желает сразиться с миром и его Владетелем. И если суждено поражение — не беда... Завтра сражение возобновится.

Но горе тому, кто преуспел. Ничто так не развращает революционное движение, как победа. Ибо первое поколение, поколение пионеров, сменяется поколением оппортунистов. Третье поколение продолжает борьбу просто по привычке, а четвертое — по инерции, обнажая изнанку триумфа. В конечном счете движение расщепляется на враждующие между собой фракции, группы, секты. Существо дела заслоняется мелочными сварями. Личности заменили собой идеи, а лозунги — идеалы. Возвышенные цели утрачиваются, миссия предается забвению. Теперь борьба разгорается вокруг званий и должностей — процесс предсказуемый и необратимый. Ибо изумление и страсть не бесмертны. Ни одному победоносному духовному течению еще не удавалось сохранить в первоизданной чистоте мечты и чаяния его основоположников. Нет ничего труднее, чем лелеять надежду после того, как она сформировала реальность. Нет ничего опаснее для победы, пусть духовной, чем сама победа.

Моисей 40 лет водил народ в пустыне, возможно, для того, чтобы сохранить подлинность своей первой победы над фараоном и самим собой. Битвы не выигрывают, не заплатив за это, а плата — утраченная неискушенность. Каков бы ни был триумф, он порождает условия, ставящие его под сомнение.

Все это доказывается историей большинства движений. В уменьшенном и необычайно смягченном виде это было продемонстрировано и ненасильственным, хотя и революционным движением хасидизма. Жизнь Исраэля из Рижина может послужить примером и предостережением.

Исраэль, родившийся в 1787 году, по праву считается последним вождем хасидизма и его любимцем. Не потому

ли, что будучи правнуком Маггида из Межирича, он, соответственно, занимал привилегированное положение? Так или иначе, он не имел ни врагов, ни даже оппонентов. Люди любили его — этого достаточно. Они прощали ему все: пристрастие к уединению, недостаток эрудиции и, самое главное, новый непривычный образ жизни, столь отличный от того, которого столетие назад придерживался Баал-Шем в Карпатских горах.

С самого начала он вел себя, словно избалованный ребенок, точнее, словно наследный принц. «В семилетнем возрасте, — рассказывал он, — я посетил Вену. Меня встретили там с необычайным почетом, и с тех пор ничто не может произвести на меня впечатления». Его устраивало лишь самое лучшее. Все его желания, капризы, малейшие прихоти немедленно удовлетворялись. Его элегантная одежда была сшита на заказ. С самого начала он страстно жаждал богатства и преклонялся перед красотой. И вот — был он и богат, и хорош собою. В конце его царствования ему принадлежал дворец с музыкантами, слугами и конюшнями. Его синагога в Садигоре вмещала три тысячи верующих. Он никогда не выходил без свиты, состоявшей из сотни помощников, приближенных, поваров, кучеров, музыкантов. На Пасху гости ели с золотых тарелок. Рижин стал храмом, а рижинский рабби — царем. Каждая суббота была попыткой восстановить утраченный блеск Иерусалима. Песнопения напоминали о левитах, трапезы — о ритуальных церемониях.

Тысячи хасидов являлись в Рижин, а позднее в Садигору, просто чтобы побывать в Рижине или Садигоре, просто увидеть царевича в его дворце, царевича на троне, царевича среди его богатств, и, как ни странно, никто не был шокирован, никто не называл это недопустимым. Рабби стоял выше упреков, выше суда.

Среди тех, кто приходил увидеть его, встречались и великие учителя: Герш из Риминава, Ицхак-Меир из Гера, Ицхак из Ворке, Хаим из Цанз и даже столь далекий от хасидизма рабби, как Шимон Рафаил Гирш из Франкфурта — никто из них не возмущался. Они возвращались домой, если и не покоренные личностью Рижинца, то проникнутые сознанием ее значительности. Правда, они ощущали, сколь сильно его концепция хасидизма отличалась от

традиционной. Когда-то в Меджибоже и Межириче, в Чернобыле и Бердичеве хасид старался преодолеть нищету средствами, исключаящими деньги, преодолеть тоску средствами, исключаящими показное веселье. В те дни хасидизм смеялся над внешним благолепием и осуждал роскошь. Баал-Шем бедствовал, и так же поступали его ученики. Они отстаивали радость, несмотря на нищету, надежду, несмотря на неудачи и несправедливость. Они верили в великодушные по отношению к другим и строгость — к себе самому. Они жили для своих товарищей, помогали друг другу достичь знания и, сверх того, самопознания. Они жили и выживали, полностью реализуя свои нужды и желания.

В далеком прошлом емкое слово «хасидизм» включало в себя такие понятия, как главенство внутренней истины, молитвенное рвение, возвращение к природе, к подлинной красоте, к отождествлению с ней. Хасид видел дерево и становился деревом, слышал песнь пастуха и становился и песней, и пастухом — то был его путь приближения к сути человеческой. Он не испытывал нужды в замках и слугах, чтобы чувствовать себя вольготно в Божьем мире. Иметь — ничего не значило; быть — значило все. Вот почему вполне закономерно, что обычные герои легенд Баал-Шема — нищие. Он желал показать, что умение не потерять себя гораздо важнее обладания. Быть — много важнее, чем казаться.

Но в Рижине законы насаждала аристократия. В Рижине величие полагалось выставлять напоказ. Тут ценились маска, а не лицо, отражение, а не источник.

Естественно возникает вопрос: почему? Что хотел доказать, открыть или опровергнуть Израэль из Рижина? Кто бросил ему вызов? В какую игру он играл, и — что гораздо важнее — почему ему было позволено в нее играть?

Вероятно, его следовало порицать и осуждать за шокирующий стиль жизни, за экономический и социальный разрыв, образовавшийся между ним и его последователями. Но хулителей не нашлось.

С ним, казалось бы, могли не соглашаться, могли ему противиться, ибо в системе ценностей хасидизма подобная экстравагантность граничила с ересью. Но нет, Рижинцу позволялось делать и говорить, что ему вздумается. В каче-

стве основателя династии, он был личностью неприкосновенной.

Говорят, в тот день, когда Авраам Иегошуа Гешель из Апты повелел поститься и возносить молитвы в знак солидарности с одной бедствующей еврейской общиной, Рижинский рабби вызвал своих музыкантов играть перед ним. Рабби из Апты не почел это, однако, за оскорбление, заметив: «Никто не в силах понять пути Рижинца». Другие рабби отреагировали сходным образом, скорее из уважения, нежели принимая этот поступок.

Он не походил на других рабби: особенный случай, особенная судьба... Но почему ему оказывалось предпочтение? Откуда такие привилегии? Что сделало его таким? То обстоятельство, что он являлся потомком Межиричского Маггида? Или же он почти с самого начала представлял собой реальную силу, с которой другие лидеры движения вынуждены были считаться? Учитывались ли какие-то другие соображения, и если да, то какие именно?

Факт остается фактом: популярность его постоянно росла. Об этом заботились фанатичные сторонники Рижинца. Легенда о нем властно притягивала к себе массы, пленяла их воображение, утоляла жажду грандиозного и величественного. Его биография поэтизирована рассказчиками из народа: они превратили ее в житие святого, пророка и царевича в Израиле. Говорят, его душа была в числе четырех, возвращенных Моисеем на землю. Остальные три — души Шимона бар Йохая, Ицхака Лурии и Исраэля Баал-Шем-Това.

Сам Рижинец утверждал, что побывал на земле трижды. Первый раз — юным царевичем в Иудее, затем — молодым жрецом Храма. Нынешнее пребывание — третье.

Однажды, когда ему было не то 5, не то 10 лет (мнения расходятся), в присутствии его могущественного покровителя, рабби из Апта, ритуальный пояс мальчика развязался и упал на землю. Старый цадик наклонился, поднял его и опоясал стан отрока, промолвив: «Вот как выполняется заповедь *глила* — препоясать свитки Торы».

По другому случаю он сказал: «Рижинец не забыл ничего из того, чему ангелы научили его до рождения».

Неужели именно оттого в детстве он отказывался учиться? Его домашний учитель жаловался, будто именитый пи-

томец не слишком преуспевал в науках. Можно ли приписать отсутствию интереса или честолюбия отказ юного Израэля читать книги и готовить уроки? Сомнительно. Скорее наоборот — налицо чрезмерное честолюбие и желание добиться максимального успеха наилегчайшей ценой. А заодно и стремление доказать, что Тора получена им «прямо от Бога». Вскоре его самоуверенность разрослась настолько, что он открыто отрицал необходимость учиться. Что бы он ни сделал и что бы ни сказал, признавалось значительным и заслуживающим внимания: ведь это Рижинец! Моше из Савраны он показал свою конюшню и с гордостью поведал об изумительных жеребцах. Набожные и благочестивые посетители пришли к единодушному заключению: «Все эти разговоры о лошадях — аллегория. В действительности Рижинец подразумевал небесную Колесницу — символ мистической связи Создателя с созданиями».

Его более официальные беседы, довольно редкие, не блистали учеными рассуждениями: несколько комментариев к Торе, несколько простых выводов из *Мидраша* и книги «*Зохар*»... Запоминались главным образом его афоризмы. Например: «Как отличить молчащего мудреца от молчащего дурака? Мудрецу молчание не в тягость». Или: «Взгляните вокруг себя. Произведения искусства повсюду лелеются, охраняются, прославляются, в то время как человек — шедевр Господень — лежит во прахе». Даже самые пылкие его поклонники признавали, что сила Рижинца коренилась в специфике личности, в индивидуальности и что влияние рабби на других людей обеспечивалось самим эффектом его присутствия, а не ученостью.

Некий Яков-Йосеф из Кореца поведал ему о своем намерении устроиться школьным учителем в дальней деревне. «Что? — воскликнул Рижинец. — Еще один школьный учитель? Нет. Я хочу, чтобы ты стал богачом». И так непоколебима была вера хасида в своего рабби, что он пустился в торговые операции и через несколько лет скопил огромное состояние.

Не заключалась ли тайна Рижинца в умении возводить людей к самому пределу их возможностей — а порой и за эти пределы? Возможно. Тогда зачем он нуждался в парадной мишуре? Баал-Шем, обитавший в бревенчатой лачу-

ге, несравненно глубже затронул души своих единоверцев. Показное богатство Рижинца на деле должно было коробить многих посетителей. Но получалось наоборот. Чем богаче он становился, тем больше бедняков стекалось к его двору. Что привлекало их? Любопытство? Вера в духовное очищение? Эскапизм? Любовь и поклонение перед Рижинцем изобличали их потребность в личности, заслуживающей восхищения. Вероятно, они хотели убедиться, что еврей может жить по-царски: для них он был отражением минувшего величия, воплощенным продолжением достославной древности. Он напоминал им, кем они были когда-то. Столько нищеты скрывалось за каждой дверью, столько страха хранилось в каждом сердце, что хватало одного взгляда на еврея — коронованного счастливца. Он был их праздником.

Его эксцентричности подыскивали убедительные оправдания. «Бедный рабби, — вздыхали люди. — Под царской одеждой носит он власяницу. Мы чествуем его, но его сердце остается печальным». И они качали головами: «Бедный, бедный рабби! Его блестящие туфли — без подметок, и он ступает босыми ногами по снегу. Тело покрыто синяками. Он страдает, а нам мерещится, будто он счастлив». Доказательства? Он никогда не ел в присутствии посторонних, спал три часа в сутки, говорил мало, искал уединения и тщательно избегал шума. В бесконечных медитациях он уносился в миры иные. Ну, а имущество? Сокровища? Богатство? Ему пришлось принять их, дабы одурачить Сатану. Где, спрашивается, расставляет Сатана сети для праведника? В синагогах, в *Бет-Мидраш*, в богадельнях, но уж, конечно, не в княжеских хоромах, не под золотыми покрывалами того, кто напоминает дворянина, а не цадика. Сатана домогается только скромных, благочестивых; чваный, тщеславный, хитрый, продажный человек оставляет его равнодушным.

И он был горд. Так же, как и его отец, рабби Шолом-Шахне, внук Маггида из Межирича.

Коцкий рабби говорил: «Бог обитает всюду, куда Его пускают». Шолом-Шахне считал: «Бог там, где нахожусь я». Шолом-Шахне будто бы ответил Баруху из Меджибожа, предложившему ему объединиться и совместно править миром: «Благодарю, но я отлично могу справиться сам».

В этом отношении Рижинец действовал по-отцовски. Властный, надменный, он не выносил никаких противоречий. Раздражать его было опасно. Он предупреждал: «Тот, кто худо говорит обо мне, — богохульствует и будет предан херему и в этом мире, и в том». Человек, вызвавший у него раздражение, мог потерять здоровье, средства существования, жизнь наконец.

Однажды он уговаривал купца увеличить сумму пожертвований, отпускаемых на благотворительные нужды.

— Рабби, — возразил тот, — я не вмешиваюсь в твои дела, пожалуйста, не вмешивайся и ты в мои.

— Ну-ну, — сказал Рижинец, — посмотрим.

Купец обанкротился.

Существует другой вариант этой истории:

— Если ты не передумаешь, — предупреждал Рижинец, — недолго тебе оставаться богачом.

— Тогда ты недолго останешься рабби, — последовал ответ.

— Ну-ну, — сказал Рижинец, — посмотрим.

И несчастный богач разорился.

Своим поклонникам, в чисто хасидской манере проталкивавшимся к нему, он заявил: «Почему вы все хотите ко мне приблизиться? Разве недостаточно быть со мной в одной комнате, под одной крышей, под одним небом?»

Когда умер Сераф Ури из Стрелиска, его последователи пришли к Рижинцу и упрасивали его стать их рабби. «Если хотите остаться, — молвил он, — оставайтесь. При одном условии: научитесь читать молитвы тихо и с уважением».

Ребенку, расплакавшемуся из-за того, что у рабби нет шести крыльев, как у ангелов в Талмуде, он ласково заметил: «Не плачь, ведь они у меня есть. У меня же шесть сыновей».

И все же, несмотря на славу и богатство, жизнь его была отмечена печатью трагедии. Сын, сбившийся с пути. 22 месяца, проведенные рабби в тюрьме. Побег, лишения, годы сомнений, бремя ответственности. Подобно своему деду и своему отцу, он умер молодым. О первом он сказал: «Он спустился, сделал то, что должен был сделать, и ушел. К чему здесь задерживаться?» Он тоже решил жить как можно интенсивнее и насыщеннее и — не задерживаться.

Он обручился в 7 лет, женился в 13, а в 16 взошел на престол раввина. В 40 лет Рижинца арестовали и посадили в киевскую крепость, заподозрив в государственной измене и соучастии в убийстве. Обвинение было туманно сформулировано как участие в заговоре, имевшем целью провозгласить его «еврейским царем», а также в убийстве двух осведомителей. Одновременно были взяты под стражу 80 других именитых евреев.

Еврейская община содрогнулась от ареста Рижинца. Все было пущено в ход для его освобождения. Священников просили ходатайствовать о помиловании. Министрам подавали петиции, губернаторам предлагали взятки. Сам император обратил внимание на эту шумиху. Всероссийский самодержец, заинтригованный личностью «Еврейского царя», приказал доставить его к себе. Утверждают, будто в тот момент, когда государь уже был готов освободить Рижинца, их взгляды встретились, и царь решил, что у арестанта «глаза революционера». Он приказал вернуть его в камеру-одиночку. Хроники говорят, что августейший узник часто рыдал, «но никогда не делал этого в присутствии посторонних».

После освобождения под залог он бежал в Австрию, где переименовал имя. Австрия и Турция предлагали ему подданство, однако, к изумлению чиновников, он изъявил желание получить документы гражданина... Иерусалима.

Но на этом его беды не кончились. За ним продолжали охотиться. Русское правительство хотело заполучить его обратно. Запутанное дело Рижинца приняло международный характер, причем на самом высоком уровне. Его дело изучал Меттерних; британский посол получил от своего правительства указание тщательно следить за ходом событий и докладывать о них. Санкт-Петербург просил, требовал, угрожал, усердно, но безрезультатно добиваясь его выдачи. Рижинец, поселившийся в новом поместье, в Патике близ Садигоры, обзавелся влиятельными австрийскими покровителями. Благодаря его энергии, этот район процветал. Никогда еще люди в Садигоре и его окрестностях не жили так хорошо. Теперь их край привлекал к себе всеобщее внимание. Короче, даже у неевреев появились основания молиться за безопасность и свободу Рижинца.

Его нынешнее положение, оваянное ореолом мученичества, было даже более прочным и безопасным, чем в про-

шлом. Самые чопорные хасиды не решались возражать против его королевских привилегий: он их заслужил. Даже рабби из Коцка, страстный и неистовый ревнитель истины, неукротимый враг тщеславия и гордыни, засвидетельствовал ему свое почтение. Только избранный Богом человек становится жертвой царя и подвергается гонениям. Страдалец — орудие Бога. Если наказание отмечено Божественной печатью, то отмечена ею и награда. Безвинно отсидев почти два года в тюрьме, человек приобретает определенные права, в том числе право утверждать, что жизнь в особняке есть не что иное, как новая, не известная до сих пор, сторона испытаний. Отказывать ему в этом праве — значит отвергать страждущих и самое страдание.

Поэтому все больше и больше людей приходило к нему: увидеть, прикоснуться к мученику, прибывшему издалека. Посетителей поражала незабываемая красота рабби. Он внушал такое благоговение, что казался царем, восставшим из праха. Величественность сквозила во всем — величавыми были его сдержанность, его печальное лицо, ободряющие жесты. Трагическое прошлое закалило Рижинца. Надежнее всего полагаться на того, кто вынес тяжкие испытания. Рабби знал слова, могущие успокоить и внушить к себе доверие. Его здравый смысл и логические способности были неотразимы, и многие известные неевреи искали у Рижинца совета. Часто его навещал фельдмаршал Витгенштейн, любивший обсуждать с ним мировые события. Богачи и бедняки, вольнодумцы и фанатики, крестьяне и интеллигенты находили в Садигоре тепло и мир — пусть только на одну субботу.

Был ли Рижинец чудотворцем? Едва ли. Скорее мудрецом. Он славился мудростью, а не мистической силой. Будучи человеком нового времени, он настолько чурался предрассудков, что не позволял себе вмешиваться в сверхъестественное. Когда ему рассказали о шайках, нападающих на беззащитных евреев в его собственном городе, Рижинец не ограничился молитвой, а велел молодым людям организовать отряды самообороны. Он хотел видеть своих хасидов здоровыми, нормальными людьми, крепкими и телом и духом. Чтобы подать пример, он каждое утро колол дрова, занимался физическими упражнениями и ездил верхом. Он

обладал одним ценным качеством, пожалуй, наиболее сильно притягивавшим к нему людей, — чувством юмора.

Кто-то ему пожаловался: «Рабби, я мечтаю раскаяться, но не знаю, что для этого надо сделать». — «А чтобы согрешить, ты знал, что надо сделать?» — «Да, это куда легче! Сперва я грешил, а потом узнавал». — «Вот именно. А теперь поступай наоборот. Начни с раскаяния, а потом узнаешь, как это делается».

Рабби Меир из Перемышля однажды задал ему в письме животрепещущий вопрос: «Обычай велит нам есть в *Шавуот креплах* (вареники с сыром). Но сколько, об этом не говорится ни в одной книге. Видимо, одного недостаточного. Три — слишком много. Два — это четное число, а мы знаем, что четные числа — порождение преисподней. Как же быть?» Рижинец невозмутимо ответил: «Ешь один, но позаботься, чтобы по величине он не уступал двум».

Этот прагматик призывал своих хасидов не пренебрегать возможным ради недостижимого, не поступаться явственной пользой ради туманного и абстрактного воздаяния. Он советовал им помогать друг другу, не стремиться искупить грехи еще не рожденных поколений, призывал их спуститься на землю, а не витать в облаках. Он убеждал их, что средства должны быть достойными цели, если не превосходить ее ее чистотой. Часто он иллюстрировал свои мысли притчами, объединяемыми общим мотивом: путник блуждает в лесу. За каждым деревом таится опасность. Но вот гроза разрывает мрак. Дурак глазеет на молнию, мудрец же смотрит на открывшуюся осветившуюся перед ним дорогу. Ибо странник обязан найти дорогу, ведущую назад, в мир людей, и лишь затем позаботиться о том, как изменить его.

«Рабби, — спросил один хасид, — как можно служить Господу, не обманывая самого себя?» «Вообрази себя канатоходцем над пропастью. Как сохранить равновесие? Едва твое тело потянет в одну сторону, тянись в другую», — ответил Рижинец.

И еще: «В своих повседневных трудах помни следующее: не делай ничего, что запрещено, и даже то, что разрешено, не делай с чрезмерной поспешностью».

Он прекрасно умел посмеяться над самим собой.

«Талмуд, — сказал он, — уподобляет Сатану дряхлому

глупому царю. Я понимаю, почему он назван царем: он правит человеческими страстями. Почему Сатана дряхлый? Тоже понятно — потому что он старше людей. Но почему глупый? Это я наконец понял, когда оказался в тюрьме. Он был со мной и там. И я сказал ему: «Ну и дурак же ты. Ты-то здесь что делаешь? У меня просто нет выбора, а у тебя?»

Он не любил Маймонида. Прежде всего, потому что Маймонид — философ, а в философии Рижинец был не силен. «Казалось бы, мне следует любить его, ибо он опровергает теории Аристотеля, столь опасные для веры. Но представьте себе еврея, вроде нас с вами, читающего изложение аристотелевых теорий в сочинениях Маймонида и засыпающего еще до того, как тот начнет опровергать их».

Подобно всем хасидским Учителям, он полагал, что Бог присутствует в каждом человеке, в каждой твари: «Человек, — говорил он, — не может не исполнять Божью волю. Даже грешники повинуются Ему. Если их отрицание обладает какой-то силой, то это Его сила. К их счастью, они этого не сознают. В противном случае они умерли бы от злости».

И все же, несмотря на живой и острый язык, три словесных поединка он проиграл.

Первый — проводнику, перевозчику, который буквально на своих плечах вытащил его из России. Они пробирались ночью вброд через реку. Внезапно остановившись, перевозчик сказал: «Рабби, если, если ты хочешь, чтобы я перенес тебя на другую сторону, немедленно обещаю тебе место в раю». Рижинец уступил: это было не место и не время для спора.

Второе поражение он потерпел на свадьбе своего сына с дочерью Герша Риминовского. В присутствии именитых гостей и сотен их поклонников Рижинец объявил: «По обычаю, в таких случаях родители жениха и невесты перед подписанием договора рассказывают о себе и своих предках. Так знайте, что моим дедом был рабби Авраам Малах, святой человек, ангел среди людей. Его отец, прославленный Маггид из Межирича, — по прямой линии потомок Иехуды ха-Наси, Йоханана Сапожника и царя Давида. А ты, Риминовский рабби, какова твоя родословная?» «О, ни мой отец, ни дед не были раввинами, — отвечал Герш из Риминова. — Мой отец был простым портным, бедным, но чест-

ным человеком. Он не научил меня ни вечным истинам Торы, ни блеску «Зохар». Однако он обучил меня кое-чему из своего ремесла. Он научил меня никогда не портить нового и всегда приводить в порядок старое».

Рижинец улыбнулся и промолчал.

Третье поражение ему пришлось понести от своего друга Меира из Перемышлян. Они встретились на дороге. Рабби Меир ехал в скромной тележке, запряженной клячей, а Исраэль из Рижина восседал в роскошной карете, влекомой четверкой могучих коней. Рижинцу стало неловко, и он почувствовал необходимость оправдаться: «Дороги скверные, шли такие дожди. Один-единственный конь не вытащил бы меня из грязи, так что... на всякий случай...» «Понятно, — сказал Меир из Перемышлян, любивший говорить о себе в третьем лице, — Меир понимает. Грязь опасна, а лишние лошади не помешают. Но видишь ли, у Меира только одна лошадь, поэтому ему надо быть осторожным, очень осторожным, чтобы не свалиться в грязь».

И снова Рижинец улыбнулся и ничего не сказал.

Но обычно последнее слово оставалось за ним. И не только когда он говорил с друзьями и поклонниками. Кое-кто намекал, что Рижинец мечтал оказаться тем человеком, который произнесет последнее слово в мировой истории и первое — после ее конца; другими словами, что он мечтал воплотиться в Мессию.

Верил ли он сам, что подходит для этой роли? Судя по некоторым его замечаниям — да. К примеру, он говорил: «Все цадики твердят о дне избавления, но я помалкиваю. Это напоминает мне свадьбу. Родители и родственники радостно шумят. Лишь жених безучастно стоит в стороне. И хранит молчание».

Это предположение в какой-то мере объясняет его несловоохотливость, причуды и стремление к роскоши, связывая все эти черты с ожиданием прихода Мессии, который будет не только спасителем, но и царем грядущих времен.

Лично я, внук Доди-Фейга, вижницкого хасида, не могу согласиться с этой гипотезой. Рижинец был слишком умен и прозорлив, чтобы вести столь рискованную игру. Он знал, чем кончают лжемессии. Истинный Мессия ведет себя ина-

че. Он не домогается ни золота, ни почестей. Он не показывает того, что должно остаться сокрытым. Рижинец все это знал, должен был знать.

Как же тогда следует понимать его притчу о свадьбе? Считал ли он себя — нет, не женихом, а гостем, избранным гостем, близким к жениху, — приближенным Мессии? Не потому ли он так часто толковал о нем — чаще любого другого хасидского Учителя? Хасидизм, родившийся и развивавшийся в Рижине, был в наибольшей степени мессиански ориентированным хасидизмом.

Рижинец, очевидно, понимал, что только Мессия мог бы спасти грядущие поколения евреев от ожидающей их гибели. Последний из плеяды ранних великих Учителей, он считал себя наследником Маггида из Межирича и Баал-Шема; как и они, он стремился оставить след в будущем. Неудачи и слабости делают честь этому человеку, пытавшемуся отвести десницу Божию. Такие люди обречены на поражение.

Рижинец, буквально одержимый надеждой на избавление, сознавал, что у человека никогда не достанет сил изменить предназначенное. Но, подобно Шпольскому дедушке и Леви-Ицхаку из Бердичева, он, обращаясь к Богу, брал сторону человека и, следуя примеру своих предшественников, в споре с Богом отстаивал правоту людей.

Он говорил: «Написано, что «мы были изгнаны из земли нашей за грехи наши». Вздор! Изгнание предшествовало грехам. Только верни нас, и Ты увидишь — ни один еврей не будет грешить».

В другой раз: «Ты должен покончить с изгнанием, ибо оно само по себе грех и притом самый страшный».

И еще: «Будь нашим отцом, и мы будем Твоими слугами, но мы будем Твоими слугами, только если Ты будешь нашим Отцом».

Он говорил с Богом языком, подобным языку Леви-Ицхака из Бердичева, но пожалуй, с меньшим смирением: «Я не раб, ищущий милости у царя. Я прихожу к нему, как советник — обсудить государственные дела».

Однажды он вскричал: «Владыка небесный, сколько лет мы знаем друг друга? Сколько десятилетий? Так позволь

мне спросить: можно ли управлять Твоим миром? Настало время Тебе сжалиться над Своим народом. И если Ты отказываешься слушать меня, то скажи, что здесь, на Твоей земле, делаю я?»

В другой раз он гневно воскликнул: «Почему Мессия не приходит так долго? Не думает ли он, что следующее поколение будет лучше нашего? Или достойнее его? Так я объявляю ему раз и навсегда, что он не прав. Оно будет хуже, много хуже».

Исключительная интуиция давала ему возможность предугадывать будущее. Мир обречен, человечество катится в пропасть. В бездушном и бесплодном мире хаос и грех достигнут космических размеров. И когда забрезжит конец времен, Добро и Зло сольются воедино. Свет будет неотличим от тьмы, рассвет — от заката, молчание — от речи, слова — от истины, истина — от страха и страх — от смерти.

Да, он был трагической фигурой, ибо ощущал тщету своих усилий. «Настанет день, — сказал он, — когда воцарится невежество. Посредственности будет вольготно на земле и над ней, а от людей с душой и совестью все отвернутся. Даже самый набожный еврей не сумеет прочесть стих псалма. Я говорю это, чтобы вы знали: так должно быть, и так будет».

Другое предсказание: «Настанет день, когда все народы возненавидят евреев. Их ненависть будет столь велика, столь неистова, что у евреев не останется иного выхода, кроме как отправиться в страну предков, на Святую Землю. И тогда горе нам, и горе им, ибо это и будет началом избавления».

Однажды он объяснил, почему любит соединять людей в браке, но отказывается возносить молитвы о том, чтобы у них родились дети: «Я предвижу — начиная со следующего столетия люди будут обладать такими омерзительными душами, что невозможно будет взирать на них без ужаса. Что ж, мы обязаны принять предначертанное. Но молиться об этом? Нет!»

Вот поразительнейшее из его видений: «Придет день, когда человек перестанет ненавидеть других и самого себя. Придет день, когда явления утратят то, что их соединяет, когда распадется связь между человеком и личностью, предметом желания и самим желанием, вопросом и ответом».

И, наконец, приведем его любимую историю.

Молодой хасид, приверженец великого Маггида из Межирича, женился на дочери злобного митнагеда, который поставил ему предварительное условие: «Выбирай: или семья — или твой рабби». Зять поклялся, что не вернется в Межирич. Однако через несколько месяцев, а может, и лет, он не смог преодолеть своего стремления воссоединиться с товарищами и Учителем. Когда он вернулся из поездки, обозленный тесть потащил его к местному рабби для разбирательства. Сверившись с «Шульхан Арух», рабби постановил: поскольку зять нарушил обещание, он обязан немедленно развестись с женой. В тот же вечер юношу выгнали на улицу. У него не было ни родственников, ни средств. Брошенный всеми, безутешный, отказавшийся от пищи, молодой хасид заболел и вскоре умер. «Так вот, — продолжал Рижинец, — когда явится Мессия, хасид подаст ему жалобу на тестя и того рабби, обвинит обоих в своей преждевременной смерти. Первый скажет: «Я подчинился решению раввина». Рабби скажет: «Я выполнил предписание». Мессия ответит: «Тесть прав, и Закон прав». Потом поцелует юного истца и скажет: «Но мне-то что делать с ними? Ведь я пришел ради тех, кто неправ».

Мессианская идея так глубоко укоренилась в Рижинце, что он (или же его сын Давид-Моше из Черткова, мнения расходятся) выделил особую комнату в своем доме, названную «комнатой Мессии», где хранилось все самое ценное и куда никого не впускали.

Со временем Рижинец, должно быть, почувствовал, что умрет, так и не дождавшись прихода «жениха». Он долго боролся с унынием, но к концу жизни поддался скорби.

Тюремный опыт наложил на него отпечаток и приучил к одиночеству. Теперь он принимал посетителей только по пятницам. Как и его великий прадед, Маггид из Межирича, он удалялся для молитвы в свою комнату, пока верующие молились в соседней, и по знаку одного из учеников, стоящего у двери, те узнавали о начале или окончании богослужения.

О последних мгновениях его жизни известно очень мало. Еще меньше, чем о его сыне Науме, который за несколько часов до смерти совершил омовение, облачился в суббот-

ную одежду, возлег на ложе, попросил своих учеников петь и пел вместе с ними до тех пор, пока голос его не прервался.

Рижинцу было отпущено больше времени для подготовки к кончине. В канун *Йом-Кипур* он остановился на пороге синагоги, положил руку на мезузу и прошептал: «Пусть стану я жертвой и искуплю вину народа Израиля».

Через месяц он умер. Ему было 54 года.

Сегодня, спустя сто двадцать лет, Рижинец представляется еще более загадочной фигурой, чем когда-либо.

Его привычки, вкусы, таланты и обаяние, его склонность к рисовке и театральности остаются загадкой для тех ученых и хасидов, которые, как я, верят в его величие. Трудно поверить, что он любил богатство для богатства. Не будучи ни философом, ни педагогом, он все же был по общему свидетельству, замечательной личностью, вождем. Фигура подобного масштаба не подвластна жажде наживы. Мне кажется, его честолюбие не имело материалистической основы, и думается, что он пытался что-то доказать, бросить кому-то вызов — мы никогда не узнаем, кому или чему.

Возможно, именно на это незнание он и рассчитывал, окутывая себя тайной. Его пристрастие к роскоши для нас так же необъяснимо, как и суровый аскетизм одинокого рабби из Коцка. Кто знает, не скрывалась ли за обеими крайностями одна и та же тайна.

Золото и серебро он, бесспорно, копил не для себя. Строгий учитель, Хаим из Цанз, говорил: «Рабби из Рижина в любой момент готов пожертвовать собой ради народа Израиля».

Ученым, оценивающим всю совокупность его слов и деяний, напомним главное: проникая своим пристальным взглядом сквозь толщу времен, Рижинец всегда помышлял о еврейском народе; его планы выходили за пределы вещественного обладания. Он был озабочен одним — тем, что уготовано человеку и его душе.

Великолепие и помпезность двора? Вероятно, он считал, что нищих хасидов можно утешить и успокоить, представив их взору мечту, воплощенную в действительность. Наверное, он хотел напомнить им, что *ромемут* — величие — тоже один из атрибутов Бога и что Бог Израиля есть также и Царь Израиля, Царь, чье разрушенное и исчезнувшее царство, несмотря ни на что, продолжает существо-

вать. Возможно, он хотел придать еще больший вес предостережению рабби Аарона из Карлина: «Все мы принцы. Забыть это — тяжкий грех».

Были ли у него иные, еще более возвышенные стремления и оправдания? Возможно. В самоотречении таится почти экстатическая радость, недоступная никакому обладанию. Избрал ли он театральность и богатство отчаянья или же, напротив, стремясь достичь самой сути своего нагого и незащищенного «Я»? Возможно, убедившись, что он никогда не будет походить на предтеч — Маггида и Баал-Шема, — Рижинец вознамерился доказать, что несмотря на свое богатство и известность, несмотря на мишуру, он все-таки следовал по их стопам. У видимого облика свои тайны. Не потому ли он постоянно призывал Мессию? Не для того ли, чтобы раз навсегда положить конец видимости?

Все это, конечно, предположения. Для меня Израэль из Рижина остается загадкой. Он не поддается анализу. И как ни люблю я его, что-то вселяет в меня тревогу. Я подыскиваю ей простое объяснение: духовного очищения легче достигнуть в нищете; истинное достоинство состоит в том, чтобы сохранять одиночество в толпе, смирение — на вершине славы и бедность — среди богатства. Возвышенные оправдания материальной выгоды внушают мне инстинктивное подозрение. Декорации могут влиять и на действие, и на состав исполнителей. Средства могут влиять на цель. Игра управляется своими собственными правилами.

Снова мы возвращаемся к вопросу: кто же он, Израэль из Рижина? Мне он видится поэтом, трагическим мечтателем, осужденным на мучительное ясновидение. Вероятно, он знал, что был последним представителем династии, что после него хасидизм преобразится, что у преемников найдутся достойные Учителя и что все они будут жить и умирать в недостойном их мире.

И одно он знал наверняка: недостаточно лишь призывать Мессию для того, чтобы заставить его прийти.

УЧЕНИКИ

Перед тем, как душа Герша из Жидичова была послана на Землю, Сатана явился в Небесный Суд с жалобой: «Эту

душу нельзя отдавать людям. Она сделает их святыми и принесет мне гибель. Такому сопернику, как Герш из Жидичова, я непременно проиграю. Я протестую, я требую справедливости...»

Судьи посовещались и объявили: «Мы признаем весомость твоих доводов, но повернуть дело вспять не можем. Наши решения неизменны. Душа, которой ты так боишься, вселится в рабби Герша. Но, чтобы ты успокоился, другая душа вселится в другого человека, который будет обладать всеми признаками, всеми достоинствами и добродетелями настоящего рабби. Толпы людей будут восхищаться им и благословлять его. И никто, кроме нас с тобой, не узнает, что он подчинен не нам, не нашей священной, Божественной власти, а лишь тебе одному».

Как распознать, как разглядеть в человеке чистоту? И как в ней увериться?.. Помнится, я задал этот вопрос дедушке. Он усмехнулся, глаза его блеснули, и он ответил: «Человек всегда неуверен, да и не должен быть уверен. В действительности все зависит от самого хасида: именно он, в конечном счете, должен оправдать рабби».

Давид Златес, ученик Люблинского Ясновидца, отказался стать раввином. Он упорно желал остаться учеником. После смерти Ясновидца он примкнул сперва к последователям Гирша из Жидичова, затем Меира из Перемышлян и, наконец, Исраэля из Рижина. Рассказывают, что в одну из суббот Ясновидец пригласил его прочесть обычную благодарственную послеобеденную молитву. Рабби заколебался. «Я приказываю тебе! — закричал Ясновидец. — Кто причастился горнему миру, не смеет от него отступить». Давид подчинился приказу. Однако впоследствии, когда бы его почитатели ни приходили к нему за помощью и советом, они находили комнату пустой. Давид ушел к другому Учителю. В качестве простого хасида.

«Вырастешь — узнаешь, — говаривал мне дед. — Ты увидишь, что найти хасида труднее, чем рабби. Уверять других куда легче, чем верить самому. Давать легче, чем получать. И хасид, — добавил он, — хасид больше заслуживает зависти, чем его Учитель».

Менахем-Мендл из Риминова говорил: «Произносить бесполезные слова значит совершать убийство».

Моше из Уйхея всю жизнь прождал Мессию. Он не ложился спать, не напомним сыновьям: «Сразу же разбудите меня, если он придет». Под конец жизни он воззвал к Богу: «Создатель, силы мои иссякли. Ты должен послать нам Мессию. У Тебя нет выхода. Не думай, что я прошу ради собственного спасения. Если пожелаешь, я готов отказаться от малейшей надежды на свет и радость. Поверь мне, я готов пожертвовать жизнью и душой и готов мучиться в вечной тьме, если это принесет избавление Израилю. Создатель, я ничтожнейший из ничтожных, но люблю истину и говорю: если б я знал, что голова моя побелеет, а Спасителя глаза мои не узрят, не стал бы жить дольше. Ты поддерживал меня. Ты давал мне надежду и веру. И Ты все откладывал — час за часом, день за днем. Ты одурачил меня. Так ли уж мудро и милосердно насмехаться над таким стариком, как я? Ответь мне, я спрашиваю Тебя».

Припоминаю — дед благословил меня: «Да увидишь ты, как Мессия положит конец изгнанию и царству зла». Благословение почти сбылось. Была ночь. Показался в загадочном дальнем царстве. Освященные языками пламени, толпились изгнанники. Они пришли из разных стран, говорили на всех языках и рассказывали одно и то же. Глядя на них, стоящих под огненным небом, ребенок, живший во мне, шептал: «Вот оно; вот конец света, конец всего. Мессия вот-вот явится из ночи. Мессия страха, Мессия смерти». Я думал о бабушке, и ужас сжимал мне горло. Ужас за него, за себя. И за его благословение.

Хуне из Колошиц сказал: «Ничто и никто здесь, на земле, не испугает меня: ни ангел, ни даже ангел страха. Но жалобы нищего заставляют меня содрогнуться».

Моше-Лейб из Сасова — своему другу Ури из Стрелиска: «Из конца в конец меряешь ты шагами эту страну, собирая деньги, чтобы выволить из тюрьмы невинного, выдать замуж сироту, помочь вдове. Я знаю, я все знаю. Но нет у меня денег, да и не было никогда. Мне так хочется помочь тебе, но не знаю как. Мне так хочется что-нибудь сделать для тебя — но что? Хотя... Постой. Я знаю, что делать, знаю, как помочь тебе: Ури, рабби из Стрелиска, друг мой, я спляшу для тебя».

И я пытаюсь представить моего деда в поезде, несущемся в вечность. Говорят, при этом одни пляшут, другие поют, третьи молятся. Молятся страстно, радостно, словно предчувствуя торжество воссоединения. А он? Пытаюсь увидеть его — и не могу. И никогда не узнаю, как мой дед Додя-Фейг, вижницкий хасид, шел к смерти. Пел ли он, танцевал ли он, для людей, для ребенка, или, быть может, ради самой притчи, ради истории, которую он никому не расскажет.

Когда Израэль Баал-Шем-Тов видел беду, грозящую евреям, он всегда шел в лес, в одно и то же место, и предавался раздумьям. Там зажигал он огонь, читал особую молитву, и — чудо: несчастье предотвращалось.

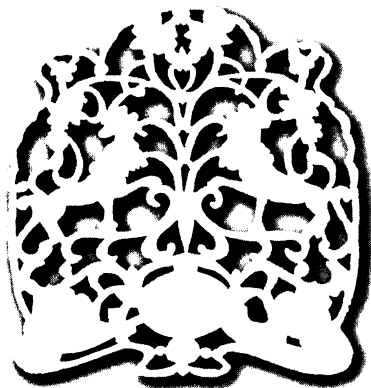
Позже, когда такая же потребность возникала у его ученика, Маггида, из Межирича, он приходил в лес на то же место и говорил: «Создатель, слушай. Я не знаю, как разжечь огонь, но я еще могу прочитать молитву». И чудо происходило.

Уже позднее Моше-Лейб из Сасова, чтобы спасти свой народ, отправлялся в лес и говорил: «Я не знаю, как развести костер, той молитвы я тоже не знаю, но знаю место, и этого должно быть достаточно». И этого было достаточно, и чудо совершалось.

Затем пришлось отводить беду Израэлю из Рижина. Сидя в своем кресле, он обхватил голову руками и сказал Богу: «Я не знаю, как зажечь огонь, не знаю молитвы, даже не могу отыскать в лесу то место. Все, что я могу сделать, — пересказать эту историю, и этого должно быть достаточно». И этого было достаточно.

Но так продолжалось недолго, и угрозу предотвратить не удалось. Похоже, мы уже не умеем рассказывать истории. Возможно, виновны мы все. Даже те, кто уцелел? Особенно те, кто уцелел.

НАХМАН
ИЗ БРАЦЛАВА





Однажды вызвал царь советника и поведал ему о своей тревоге:

— Я прочел по звездам, что всех, кто отведаст от будущего урожая, поразит безумие. Что нам делать, друг мой?

— Нет ничего проще, Ваше Величество, — ответил советник. — Мы к нему не притронемся. Прошлогодний урожай еще не истощился. Отберите его и храните у себя. Вам этого хватит с лихвой. И мне тоже.

— А другим? — возмутился царь. — Всем подданным моего царства? Верным слугам престола? Мужчинам, женщинам, сумасшедшим, нищим — о них ты забываешь? А детям? Детей ты тоже забываешь?

— Я никого не забываю. Ваше Величество. Но в качестве советника я обязан рассуждать здраво и принимать во внимание все обстоятельства. наших запасов недостаточно, чтобы уберечь и обеспечить каждого. Их хватит для вас. И для меня.

Король помрачнел:

— Твое решение мне не по душе. Неужели нет иного выхода? Тогда я отказываюсь оставаться здравомыслящим среди обезумевших людей. Я буду с моим народом. Мы с тобой разделим общую участь и уподобимся всем прочим.

Раз мир охвачен безумием, нельзя взирать на него со стороны: лишенные рассудка люди подумают, что сумасшедшие — мы. И все же я желал бы сохранить хоть какое-нибудь свидетельство нашей нынешней славы и наших мучений. Я хотел бы сохранить память о нашем решении. И когда придет время, я хотел бы, чтобы мы с тобой признавали наше положение.

— Зачем, Ваше Величество?

— Вот увидишь, это сослужит нам добрую службу и мы сумеем помочь нашим друзьям. Кто знает, быть может, потом, благодаря нам, люди найдут силы сопротивляться, даже если будет слишком поздно,— и, обняв друга, царь продолжал: — Поэтому мы отметим наши лбы клеймом — знаком безумия. И всякий раз, взглянув друг на друга, ты и я будем знать, что мы — безумны.

В некотором царстве принц сошел с ума и вообразил себя петухом. Он разделся донага, спрятался под стол и жил там, отказываясь от царских яств, подававшихся на золотых блюдах. Он ел одно лишь зерно, припасенное для кур. Царь был в отчаянии. Он посылал к сыну лучших лекарей, знаменитейших ученых — все без толку. Тщетны были старания заклинателей, монахов, отшельников и чудотворцев. И вот однажды предстал перед королем неизвестный мудрец: «Мне кажется, я мог бы исцелить принца, — промолвил он, — позволь мне попытаться». Король согласился. И тут, ко всеобщему изумлению, мудрец, сбросив одежду, забрался к принцу под стол и принялся кукарекать. Заподозрив что-то неладное, принц спросил: «Кто ты такой и что ты здесь делаешь?» «А ты? — сказал мудрец. — Ты кто такой и чем тут занимаешься?» — «Разве не видишь? Я петух». «Хм, — удивился мудрец, — странно». — «Что ж тут странного?» — «Ты что же, не видишь, ведь я такой же петух, как ты». Они подружились и поклялись никогда не расставаться.

А затем мудрец принялся лечить принца. Он начал с того, что надел рубашку. Принц изумился: «Да ты рехнулся! Забыл, кто ты? Неужто ты вздумал стать человеком?» «Видишь ли, — мягко возразил мудрец, — не следует думать, будто петух, одетый как человек, перестает быть петухом».

Принцу пришлось согласиться. На следующий день оба были одеты. Мудрец послал за блюдами с дворцовой кухни. «Негодник! Что ты делаешь? — воскликнул перепуганный принц. — Уж не собираешься ли ты есть, как люди?» Друг рассеял его сомнения: «Никогда не думай, будто, сидя за столом с человеком и разделяя его трапезу, петух перестает быть самим собой. Разве петуху достаточно вести себя по-человечески, чтобы стать человеком? В этом мире ты можешь вести себя сколь угодно по-человечески и все же оставаться самим собой — петухом». И принц поверил ему. Отныне он жил, как подобает принцу.

Автор этих притч — Нахман из Брацлава, чьи истории принадлежат к самым увлекательным в хасидской литературе. Они создают волшебный мир, мир, в котором мечтатели преступают пределы своих мечтаний, увлекаемые жадной спасения и бесконечным стремлением к чистоте и чуду.

Нахман из Брацлава во многом напоминает Франца Кафку, чьим предшественником — и, видимо, вдохновителем — он был. Соблазнительная и к тому же вполне правдоподобная гипотеза. Эти два человека, разделенные более чем столетием — рабби Нахман родился в 1772 году, — разрабатывали сходные темы и идеи, придающие их трудам особый, реалистический и в то же время фантастический, характер. Их герои живут жизнью, ими же придуманной, и сами рассказывают о своей смерти.

Есть и более поразительные совпадения: оба, и цадик с Украины, и пражский романист, умерли молодыми: рабби — в 38, писатель — в 41 год. Их сразила одна и та же болезнь: туберкулез. Оба требовали, чтобы их писания были сожжены. И у каждого нашелся друг, преданный комментатор, которому мы обязаны тем, что память об их творчестве уцелела. Макс Брод был для Кафки тем, кем был рабби Натан для рабби Нахмана.

Однако, желая уничтожить свои труды, рабби Нахман хотел сохранить главное — их смысл. «Превратите мои истории в молитвы», — сказал он последователям. В молитвы — не в реликвии.

Перед смертью он велел предать огню все свои записи, «чтобы вернуть их небесам». Натан счел своим долгом по-

виноваться — и сделал это. Ему недоставало смелости и предвидения Макса Брода. Великие рассказчики походили друг на друга больше, чем их преданные друзья.

Вот другая история рабби Нахмана: о королевском посланце, не сумевшем исполнить свою миссию.

Король отправил письмо одному мудрому, но весьма недоверчивому человеку, жившему в дальнем краю. Тот отказался принять послание. Он был одним из тех людей, кто размышляет слишком много и затрудняет себе жизнь, придавая слишком большое значение мелочам. Он никак не мог уразуметь: «С какой стати могущественному и богатому монарху обращаться ко мне, ничтожнейшему из смертных? Если он принимает меня за философа, то есть ведь и другие, более знаменитые философы. Может, причина в чем-то ином? А если да, то в чем?» Не найдя ответа, он предпочел считать письмо недоразумением. Более того — фальшивкой. Еще хуже — грубой шуткой.

«Твоего короля не существует», — сказал он курьеру. Но тот стоял на своем: «Я здесь, и вот письмо, разве этого мало?» — «Письмо вообще ничего не доказывает, кроме того, я его не читал. А кстати, кто тебе его дал? Сам король?» — «Нет, — признался гонец, — мне вручил его царский паж. От имени короля». — «А с чего ты взял, будто это письмо от ныне царствующего монарха? Ты его когда-нибудь видел?» — «Никогда. Разве я достоин лицезреть Его Величество?» — «В таком случае, откуда ты знаешь, что король — это король? Видишь, ты знаешь не больше моего».

И мудрец, и курьер решили выяснить истину, не распечатывая письма. Они обойдут весь мир, но узнают правду. На рыночной площади они обратились к солдату: «Кто ты и чем занимаешься?» — «Я наемник, служу королю». — «Какому королю?» — «Которому присягал. Это его страна. Мы все должны ему служить». — «Ты знаешь, как он выглядит?» — «Нет». — «Значит, ты его никогда не видел?» — «Никогда». Путники расхохотались: «Гляньте на него! Этот парень в мундире твердит, будто служит кому-то, кого ни разу не видел и никогда не увидит».

Затем они встретили офицера. Да, он охотно умрет за короля, нет, он никогда не удостоивался чести его видеть — ни вблизи, ни издали.

Генерал. Те же вопросы, те же однозначные ответы. Он тоже думает только о царской службе, живет только королем и для короля. Нет, хоть он и генерал, но не может похвастаться, будто ему удалось лицезреть Его Величество.

«Ну, видишь, — говорит мудрец-скептик вестнику. — Люди наивны, доверчивы и бестолковы. Они живут во лжи и боятся правды».

И они смеются. Смеются надрывно, с таким отчаянием, что под конец поймут: должна же быть связь между откликом и зовом, между человеком и его дорогой; под конец они поймут, что их отчаяние не абсурдно, ибо оно и может оказаться нитью, связывающей их с королем.

Король по рабби Нахману — не враг мудрецу, мудрец — не враг королю. Все стремятся к неким метаморфозам, чтобы изменить условия своей жизни. Но в то время как герой еврейского романиста из Праги действует в ужасающем мире мрачного насилия и уродливой жестокости, герой цадика завоевывает благосклонность короля.

Всем персонажам приходится преодолевать препятствия, бороться с невзгодами, умиротворять встречных. И им это удается: приключения заканчиваются благополучно — гармонией, а не отречением. Когда беды кончаются, обнаруживается их смысл. Героев ввергли в тайну, которая ждала только их. Это не зло, а, напротив, — освобождение и спасение. В романтическом мире рабби Нахмана нет настоящего зла. В конце концов все становится союзником человека.

Рабби Нахман — это хасидская фантазия, торжество слова, прославление вдохновенной и пленительной легенды. Рабби Нахман — это полет, окрыленное путешествие в сущность бытия.

Этот многослойный образ навеивает мечты или же напрочь отбивает всякое желание мечтать. Его богатая подвигами жизнь отмечена вечными парадоксами, горными вершинами и пропастями, взлетами и падениями, даже галлюцинациями. Лишь покоя и безопасности он не узнал никогда.

Этот правнук Бешта жестоко ссорился со всеми знаменитостями, претендовавшими на его наследие. Учитель, основоположник школы, он не создавал теории, он пере-

давал свое видение мира, рассказывая истории и притчи, — шедевры в своем роде. Как каббалист он понятен, как рабби — нет. Аскет, враг сомнений, он бывает в так называемых эмансипированных интеллектуальных кругах, где собираются противники аскетизма, которые сомневаются во всем. Ревнитель веры, он играет в шахматы с вольнодумцами: его интригует их неверие. Больной, он не выносит врачей, бедняк — презирает богачей. Он запрещает своим ученикам читать философские труды, Маймонида в том числе, однако сам усердно изучает философию. Высокомерный с одними, смиренный с другими, — впрочем, не с тем, с кем нужно, — он всякий раз выглядел по-иному. Хоть никогда не менялся. Казалось, в нем заключены два человека. А иногда святой уподоблялся комедианту.

Все это мы знаем благодаря его биографу, ставшему агиографом, — рабби Натану. Изю дня в день учитель делился с ним своими сокровенными мыслями — мыслями, рожденными исступлением. Рабби Натан знал о его мучительном детстве, юности, треволнениях, о пароксизмах тревоги, сменяемых экстатическими просветами. Подробные свидетельства, поразительные, зачастую несколько невнятные образы. И факты, и манера изложения несут печать подлинности. Так, мы знаем, что Нахман был беспокойным, скрытным и упрямым ребенком. В учении он не блистал, часто плакал и жаловался Богу — на Бога. Потом он был столь же беспокойным подростком. Иногда он убежал из дому, приходил на могилу Баал-Шема и возвращался измученный, с горящими глазами.

Ему приходилось собирать все свои силы для изматывающей борьбы с позывами плоти, борьбы, крайне подробно описанной в заметках рабби Натана. Из нее он вышел победителем. «Для меня, — говорил он, — что мужчина, что женщина — все едино». Как-то он добавил: «Отныне я буду страшиться женщины не больше, чем ангела». Он жил напряженной жизнью, насыщенной «падениями и головокружительными взлетами», постами и бессонными ночами. Он страдал молча. «Зубы его бывали стиснуты с такой силой, что могли бы расщепить кусок дерева», и иногда он «тихо стонал». Это импульсивное существование словно молниями озарялось болезненными и вместе с тем воз-

вышенными экзальтациями. Он возносился и падал тысячи, десятки тысяч раз, — скажет позднее рабби Натан. — После упорных трудов он поднимался в заоблачные выси для того только, чтобы в течение одного-единственного дня снова и снова испытать горечь падения».

До появления рабби Натана его близким другом был некий рабби Шимон, соученик Нахмана. Однажды рабби Нахман предложил ему вместе уехать в Венгрию и жить там в нищете и безвестности. «Я здесь известен слишком многим, — сказал он. — Они чтят меня за родословную. В Венгрии им не нужно будет подумать дважды, прежде чем причинить мне боль». Путешествие не состоялось. «Не стоит ехать, — заявил он товарищу, — я подвергнусь гонениям и здесь».

Нахман оказался прав. Ко дню женитьбы — в возрасте 13 лет — он успел прославиться куда больше, чем многие духовные пастыри того времени. Рано или поздно он должен был возбудить в них чувство враждебности. «Только пучок соломы не вызывает ненависти», — заметил он впоследствии. Его темперамент отличался такой неустойчивостью, чувствительность такой остротой и не по годам развитый ум такой живостью, что существование превратилось для него в сплошную рану. Но знаем мы это благодаря рабби Натану.

Про этого странного человечка, Натана, говорили, что он родом из Немирова. Рассматривать его как простого свидетеля или писца, служившего в Брацлавском суде, было бы явной недооценкой. Ученик этот так же самобытен, как Учитель. Каждый нашел и реализовал себя по-своему. Если истолкователь жил всецело для рабби, то зато и Учитель воплотился лишь посредством биографа, который сказал о своих сочинениях: «В них вы найдете дух и мысль Учителя, только голос мой».

Рабби Натан был не просто голосом рабби Нахмана, и это выяснилось после смерти Учителя. Любимый сподвижник и лучший ученик Нахмана, он сам воспринимался как рабби. Люди искали его совета, просили его благословения, ходили на его службы. Они называли молитву Натана «толкованием молитвы». Но Натан, преданный и смиренный

приверженец цадика, всегда считал себя только его учеником. Лишь эта роль была ему по вкусу. Он говорил: «Я безумен, как и весь мир, но мне выпало счастье лицезреть один ясный ум». Еще он сказал: «Блажен тот, кто встретился взглядом с рабби Нахманом, блажен тот, кто встретился взглядом со мной, смотрешшим в глаза рабби Нахману».

Что привело его к цадику из Брацлава? «Сон, — говорил он, — Во сне мне привиделось, будто пошел я в пекарню купить булочек. По дороге меня осенила ужасная мысль: да неужто в этом заключается моя жизнь? Брать булочки от одного человека и передавать другому? И это все? И тут передо мной явился человек, который сказал: «Если хочешь, чтоб я тебе помог, будь со мной». Это был рабби Нахман».

Наяву рабби Нахман сердечно принял его: «Мы давно знаем друг друга, а встретились впервые сегодня». Гость был расстроган и покорен. С этого момента он стал другим человеком.

То была любовь с первого взгляда. Он перестал скитаться, забросил дела и даже свой дом. Он всего себя отдал Учителю. «Если бы из земли всюду торчали кинжалы, — сказал он, — я, не задумываясь, прошел бы ее из конца в конец, чтобы хоть раз взглянуть на святой лик рабби». Он вознамерился собрать все поучения рабби, его застольные беседы, разбросанные обрывки мыслей и изречений, впитать в себя его мечты, причуды и затем записать все это в оформленном и целостном виде. Благодарный рабби Нахман похвалил его: «У каждого из вас своя доля в моих историях, — сказал он ближайшим ученикам, — но у тебя, Натан, самая большая».

Комплимент? Нет. Констатация факта. Благодаря таланту Натана, его предвидению и зоркости, мысли и легенды Учителя дошли до нас. Скрупулезный до фанатизма, он отдавал свои записи автору для исправлений и замечаний. Таким образом, мы иногда можем рассматривать ту или иную историю как бы с двух точек зрения: рассказанную повествователем — и услышанную им самим со стороны. Натан пошел еще дальше: думая о будущем читателе, он не ограничивался только записью той или иной истории, но добавлял свои собственные наблюдения, замечания, порой

даже описывая обстоятельства, сопутствующие ее созданию. Благодаря ему читателям рабби Нахмана выпало счастье присутствовать при рождении некоторых его легенд.

Именно Натан сообщает нам точно, когда и почему Нахман решил стать рассказчиком. В 1806 году рабби заявил: «Я вижу, что мои идеи не производят на вас ни малейшего впечатления. Поэтому я буду рассказывать вам истории, причем на идиш, чтобы исключить всякое непонимание». А еще он сказал: «Если правда, будто истории пишут, чтоб нагнать на слушателей сон, то я рассказываю сон, чтобы заставить их проснуться». Еще: «Я рассказываю вам о своих мечтах потому, что мечта — не что иное, как рассказ о мечте; более того, рассказ о мечте — это больше, чем сама мечта».

Прошло пять лет после смерти Нахмана, и рабби Натан освоил профессии редактора, издателя и печатника, дабы повсеместно распространять слова Учителя. Истории рабби Нахмана, запрещенные в России, где они считались слишком печальными и гнетущими, были опубликованы в Польше. В предисловии рабби Натан писал:

«Замри и восхитись этими чудесами. Если ты человек, если у тебя есть душа, тебе не останется ничего другого, как, собрав всю волю, пересмотреть жизнь свою. Волосы твои встанут дыбом, ибо прочтешь поразительные слова, которые обворожат самые черствые сердца. Каждое слово здесь исполнено глубочайшего смысла, и каждый образ таит в себе древнюю и вечную истину».

Сам рабби Нахман приписывал им магическую силу. Он считал, что эти истории внушены ему свыше, являются чуть ли не откровением. И по сей день его последователи повторяют их, после особой молитвы, дабы проникнуть в тайны, доступные только посвященным: они повторяют их друг другу, словно заклинания, чтобы очиститься, очищая слово, которое дает имя существу и голосам во времени и пространстве.

Я вспоминаю, как ребенком читал эти завораживающие истории, воображая, будто понимаю их. Теперь я их перечитываю. Очарование сохранилось, но понимание?

Одни кажутся слишком простыми, другие — чересчур сложными, иные — и примитивными, и запутанными одновременно. Часто меня смущает их форма, иногда — содержание. Чем больше читаю, тем больше чувствую, что что-то упустил, что-то не смог и не смогу дочитать до конца. А еще я страшусь, что в них неизменно будет простираться полоса молчания, полоса тьмы, которую мне не одолеть. Никогда не набрести мне на тропу, ведущую к рассказчику. Никогда не увижу я ни то, что он видел, ни то, что отказался увидеть. Я не смогу сопережить его приключения, хотя иногда мне мерещится, будто все это происходило со мной.

Его истории? В каждой содержится множество других. Представьте себе набор концентрических окружностей; центр — самая сущность человека: внутреннее «Я». Совесть, обратившаяся в покой и безмолвие, память внутри памяти. Все эти рассказы населены принцами и мудрецами, беспокойными людьми, ищущими друг друга и себя в других. Населены страдальцами, беженцами, изгнанниками, вестниками, детьми, сиротами и нищими, бесконечно скитающимися по свету только для того, чтобы снова воссоединиться в пещере или во дворце, отыскав свое подлинное «Я» за пределами пережитого опыта, порой вопреки своей воле. Следуя за ними, мы погружаемся в сверхъестественный мир, хотя слово «чудо» ни разу не упомянуто. Ибо в мире Нахмана все сверхъестественно, даже самое заурядное событие. Здесь лес, деревья, животные и утренний ветерок могут смеяться, а самые обездоленные, самые убогие люди наделены могуществом.

Смелее, чем самые отчаянные сюрреалисты, Нахман творит импульсивно, свободно, вверяясь интуиции. Он отвергает всякую логику, индуктивную и дедуктивную, не подчиняется никаким законам, не признает воздействия внешних обстоятельств. «Времени не существует», — утверждает он, подразумевая и свои истории, и весь мир. Более того, он исключает время из исходных элементов мироздания. Согласно Нахману, Бог дал человеку все, кроме Времени. Таким образом, понятие времени никогда не встречается в трудах рабби Нахмана, как, впрочем, и понятие места.

Последовательность? Он предпочитает необузданную, безграничную, суверенную фантазию, пренебрегающую любыми границами. Его персонажи всегда покидают друг друга — иногда чтобы без всякой видимой причины скрыться среди чужих. Герои не поддаются отчетливой идентификации. Эпизоды произвольно вписываются друг в друга, чередуются, свиваясь в запутанный клубок. А потом, опять-таки произвольно, они внезапно приходят к концу, словно рассказчик потерял терпение и решил наспех закончить одну историю, чтобы приняться за новую. Тон повествования — эпический, темп — стремительный, беспорядочный. Каждая притча содержит десяток других, каждая сцена — мозаика, и любой ее фрагмент — отдельная новелла. Нить повествования легко теряется. Внутри историй рабби Нахмана слишком много других историй. В конце концов исчезает из виду основной, потаенный сюжет. Подобно героям Нахмана, читатель-слушатель уже не представляет себе, где он находится и что его ожидает через два шага: он беспомощен, он заблудился в этом чуждом мире.

На первый взгляд это выглядит необъяснимым. Ведь рабби Нахман при желании мог относиться к себе куда строже. Он был слишком искусным художником, чтобы бесцельно портить рассказ. И если он держит нас в неустанном напряжении, несмотря на хаотичность повествования, то только потому, что он мастер своего дела. Но тогда как же он мог, он, который даже во второстепенных, чтобы не сказать незначительных, эпизодах придавал такое значение мельчайшим трудноуловимым деталям: цвету облака, свечению сумерек, удивлению грешного старика, усмешке случайного прохожего — как он мог пренебречь самой структурой произведения? Почему столько пропусков? Столько нитей, тянущихся одновременно в самых разных направлениях? Почему действие десять раз останавливается и семь раз возобновляется? Есть ли здесь какая-то цель? Ответ заключен в вопросе.

Те же огрехи — или, по крайней мере, то, что нам кажется таковыми — нетрудно найти во всех его историях, во всем, что он создал. Значит, все это сделано преднамеренно и отражает его представления о сущности бытия, твор-

чества — искусства передачи и сохранения легенд — и, конечно, представления о личности самого автора.

Вероятно, он давал понять, что человеку гораздо важнее поразмыслить над таинством собственной жизни, чем над загадкой происхождения мира. Опасность и зло подстерегают его не на пути к смерти, — они в отступлении. Человек движется более чем к одной цели, существует не в одной плоскости, любит и предается отчаянию по-разному и по самым различным причинам. Более того, он даже не знает, ведет ли его деятельность к главной или второстепенной цели, не ведает, благословенно или проклято его бодрствующее сознание. Условия человеческого бытия оказывают наиболее сильное воздействие на личность именно в момент их разрушения. В каждой части содержится целое, каждый излом свидетельствует, что человек одновременно самое хрупкое и самое жизнеспособное из созданий.

Рабби Нахмана более заботил человек, чем человечество; его привлекало не общее, а индивидуальное. Таинственность его взаимоотношений с землей и небесами не уступает таинственности его неба и земли. Рабби Нахман уплотняет случайные события, заставляя сюжет дрожать от напряжения. Мгновение предпочитает Учитель годам, бесконечно малое — бесконечно большому, потрясения — безмятежности.

Вот самая прекрасная и загадочная его притча — «Рассказ о семи нищих». Его любимая история. Мы знаем это, поскольку перед тем, как рассказать ее публично, он заявил рабби Натану, что он поведаст историю, которая со дня сотворения мира прозвучала только один раз: перед разрушением Храма. Даже пророки не знали ее. Знал только один человек — тот, кто облек ее в слова. И добавил: «Мы должны пойти в город Броды, в главную синагогу, подняться на *бима* и пригласить народ послушать...»

В некотором царстве, в некотором государстве жил да был царь, который в один прекрасный день отрекся от престола в пользу своего сына. Состоялась пышная и веселая коронация. На улицах и площадях распевали песни и пили вино. Актеры и музыканты, жонглеры и фокусники раз-

влекали придворных, а народ веселился и днем, и ночью. В самый разгар празднества царь повернулся к сыну и сказал: «Звезды говорят мне, что ты лишишься престола. Обещай мне, что это не опечалит тебя, обещай, что ты не изменишься, останешься веселым и счастливым. Тогда и я буду счастлив, хоть это и будет счастье совсем особого рода».

Молодой царь был добр и щедр. Он покровительствовал искусствам и свободной мысли. Он хотел, чтобы его подданные процветали. Если человек хотел денег, царь делал его богатым. Если кто-то искал славы, царь помогал ему снискать ее. Таким образом, в государстве воцарились мудрость и любовь, тогда как войско постепенно приходило в упадок. Воины забыли свое ремесло и потеряли желание гоняться за славой и почестями, убивая людей и идя на смерть.

И тогда вдруг царь предался печали и принялся непрерывно вопрошать себя: что делаю я в этом мире и где мое место в нем? Он изменился.

Ну, а в другой стране началась страшная сумятица, и люди в ужасе бежали из родных мест. Тогда-то, пробираясь через лес, потерялись двое маленьких детей — девочка и мальчик. От голода и холода они стали громко плакать. И тут вдруг появился нищий с пустыми, тусклыми, мертвыми глазами. За спиной у него висела котомка. Дети кинулись к нему, и он дал им немного хлеба. «Откуда вы идете?» — спросил он. «Мы не знаем», — ответили дети. Он собрался уходить, и дети начали умолять взять их с собой, но он отказался. Только тогда они догадались — перед ними слепец. И он удалился, пожелав им на прощанье: «Будьте такими, как я».

На следующее утро измученные и голодные дети снова стали плакать. И на помощь к ним пришел другой нищий — глухой. Он тоже отказался взять их с собой и пожелал им быть такими, как он. На третий день пришла очередь заике дать детям кусок хлеба и свое благословение: «Будьте такими, как я». Четвертый нищий был кривошеим, пятый — горбатым, шестой безруким, седьмой — безногим. И каждый желал им быть такими, как он.

А потом дети выбрались из лесного мрака и, кормясь подаванием, странствовали по ярмаркам и городам. Всюду

они вызывали сострадание. Со временем они преуспели, вышли в люди и прославились. И тогда их решили поженить. Обручение праздновали в базарный день. Что до свадьбы, то она должна была состояться в день рождения царя в огромной пещере, украшенной листьями, с валунами вместо столов. Им собирались принести остатки от царского пира, чтобы все наелись досыта.

Однако новобрачные не забыли время, проведенное в лесу, и горько жалели об отсутствии своих благодетелей, семерых нищих с добрыми сердцами и странными благословениями. Больше всего на свете хотели они снова увидеть их, хоть на мгновенье. И вдруг, о чудо! У входа в пещеру появился их самый первый друг, слепой нищий: «Я пришел разделить с вами сегодняшнее торжество и принес подарок...» И стал рассказывать им притчу: «Это не я слеп, это мир слеп. Более того: я не стар, не молод, я еще не существую. Гигантский орел поведал мне это...»

На следующий день — второй день праздника, второй нищий предстал перед новобрачными. Вот что он им сказал: «Я не глухой, но уши мои слышат только то, чего нет в мире. Одни сетуют, что у них нет счастья, другие радуются, что у них нет горя. Так вот, этого я не слышу. Я не слышу чего у них нет. В этом моя сила. Жители огромного изобильного города поведали мне это...»

На третий день появился третий нищий — заяц, который сказал: «Я вовсе не заяц. Напротив, я проповедую по влечению, по призванию и по ремеслу. Но мне по душе только совершенные речи. Вдобавок, я певец, и в песнях моих заключена высшая мудрость. Всемилостивейший поведал мне это». И он начал: «В центре мироздания есть гора, на этой горе камень, а из-под камня бьет источник. Так вот, у каждой вещи есть душа. Даже у мироздания есть душа, душа, которая есть одно целое с лицом, руками, ногами, глазами и ушами. И эта пылающая душа исполнена огня и страстного стремления вернуться к своему источнику, на край света, по ту сторону бездны. Душа эта вдвойне несчастна — по пятам за ней следует солнце, иссушая и испепеляя ее. Чтобы выжить, ей нужен источник. Но чем больше уповает она на источник, тем сильнее ее жажда. Кроме того, как только приближается она к горе, вершина

исчезает, а с ней и источник. И тогда душа улетает, ибо она живет только любовью к источнику. И если бы ей пришлось остановиться, весь мир превратился бы в ничто. Таким образом, она обречена оставаться на другой, дальней стороне, под защитой птицы с широко распростертыми крыльями. Душа осуждена вечно взирать на недостижимый источник».

Затем молодая чета испытала радость встречи с четвертым нищим, с пятым, с шестым. Из дня в день они выслушивали новую историю.

Но дойдя до шестого дня свадебных торжеств, рабби Нахман замолчал. Позднее он признался раби Натану, что история седьмого нищего будет рассказана только после пришествия Мессии.

Заметьте — само начало этой истории давно уже забыто. Что же случилось, собственно, с царем, занявшим престол при жизни отца? Потерял ли он трон? Поддался ли скорби или сумел даровать своему отцу «счастье особого рода»?

Это не имеет значения. Для рабби Нахмана в истории важна лишь притча, в притче — порожденная ею греза, мечта, скрытая в мечте. Царь значит меньше нищего, меньше, чем одержимые создания, чудесно повелевающие лошадьми, звуками, зрением. Эти существа добры, бескорыстны, отзывчивы, всегда готовы примчаться на помощь заблудившимся в лесу принцам, принцессам, похищенным из своих замков, или старикам, не знавшим детства. Все они знают, куда смотреть и куда идти. Они беседуют с нами. Едва появившись, они обогащают нас своими талантами, своими историями. Один умеет внимать, другой знает, где встречается день с ночью, а третий слышит, как луна жалостно взывает к солнцу.

Волшебный, заколдованный мир, подвластный слову и претворенный словом. «Слова могут заставить замолчать ружья, — говорит рабби Нахман. — Слово можно оживить словом же». Слова в состоянии разрушить самую прочную из стен. Слово — самое волнующее и самое ужасное из всех открытий.

«Написано, — говорит рабби Нахман, — что праведник повинуется слову Божьему. Это следует читать иначе: праведник создает слово Божье». В устах Учителя это значило:

праведник создает язык, которым Бог творит Свой мир. Пророки передают слово Бога, Праведник создает его. Часто в форме шутки, притчи, истории.

Каждое слово — притча, говорили в Брацлаве. Тора, например. Или Талмуд. Или «*Зохар*». История о Законе так же важна, как Закон. И она куда глубже комментариев.

Следует ли видеть некий умысел, некое мистическое содержание в легендах рабби Нахмана? Брацлавская школа утверждает — да. Царь — это Бог, несчастный принц — Народ Израиля, принцесса — *Шхина*, Тора или Мессия. А притчи не что иное, как способ показа, «витрина». Герои, их одержимость возникают из священного источника. За эфемерностью и надуманностью их отношений скрывается высшее и непреходящее значение.

Пример:

Жил да был принц, принужденный покинуть отцовский дворец. Прошли месяцы. Годы. Тоска по дому и беспокойство овладели принцем. Изгнание наложило на него отпечаток — принц терял надежду, уходил в себя. Однажды гонец принес ему отцовское письмо. Увидев его, бедняга принц совсем пал духом — весточка напомнила ему родной дом, все, чего он лишился. Чем бы он только не пожертвовал, лишь бы снова увидеть отца, обнять его или хоть дотронуться до края его мантии. Беззвучные рыдания сотрясали принца, но усилием воли он взял себя в руки. В голову ему пришла мысль, что не нужно впадать в тоску и уныние — ведь перед ним драгоценное письмо. Ведь слово, начертанное царем, воспроизводит волю царя, и, следовательно, оно и есть царь.

Смеясь, он стал покрывать письмо поцелуями. Оно было связью между ним и прошлым, доказательством того, что его отец жив. Послание было написано и отправлено: значит, царь оставался царем, а принц, несмотря на изгнание, — принцем.

Смысл притчи ясен: дабы снести изгнание, Израиль должен найти утешение в Торе. Он должен держаться за письмо и уповать на волю Божию.

Дело в том, сказал рабби Нахман по другому поводу, что каждый человек призван следовать собственным пу-

тем. Одних Бог призывает окриком, других песней, третьих — шепотом. Вспомните пастуха и овец: пока овцы близко, они слышат его свирель, а тот, в свою очередь, слышит их колокольчики. Но как только овцы забредут слишком далеко, ни они, ни пастух уже не услышат друг друга.

Кто же пастух, если не Бог? И кто же овцы, если не Израиль? А колокольчик — это Тора, напоминающая об опасности разобщения и дальних расстояний.

По-видимому, некоторые хасидские Учители того времени не очень высоко ценили символику этих историй. Рабби Нахман, считали они, попусту теряет время, рассказывая свои сказки легковерной пастве. Недоумение вызывало иное: то, что в этих историях говорится не о святых, не о раввинах-чудотворцах, а о принцах и пастухах, безымянных нищих и всадниках, о мудрецах и вестниках, и даже о неевреях. Если бы он шадил чужие чувства, слабывая притчи толикой обычных хасидских легенд, восхваляющих могущество цадиков и веру их последователей, все остальное вызвало бы меньше негодования и протестов. Но рабби Нахман стоял на своем: он любил своих нищих и принцев.

Критике подвергалась не только литературная деятельность Нахмана. Его повседневная жизнь тоже вызывала нарекания. «Дурные компании», в которых он постоянно вращался, его неистовый индивидуализм раздражали многих. Неприязнь вызывали его склонность к таинственности и неопределенности, пренебрежение общественным мнением. Его осуждали за связь с тайными франкистами, верившими, вслед за своим вождем, в избавление через зло.

Разумеется, в Брацлаве знали, как объяснить и оправдать поведение Учителя. Чтобы вытащить человека из грязи, праведник должен сам вступить в нее. Чтобы спасти заблудших, ему нужно распрощаться с домашним уютом и искать их повсюду. «В каждом человеке есть что-то от Мессии». В каждом человеке, в каждом месте. Это утверждает каббала. Это повторяют мистики.

Чтобы освободить человечество, нужно собрать искры, все искры, и слить их в священное пламя. Мессия, спасающий только праведников, — не Мессия. Об остальных тоже

необходимо позаботиться, их надо подготовить. Неве­рующие нуждаются в избавлении больше святых. Говорят, именно поэтому рабби Нахман в одиночку бросал вызов бесчисленным опасностям.

Впрочем, это объяснение не смягчало его противни­ков, у них имелось немало других поводов для раздраже­ния. Шпольский дедушка, вначале относившийся к нему с симпатией, отвернулся от него в тот самый день, когда раб­би Нахман приехал в его город. Он почувствовал, что гость насмехается над ним.

Других отпугивало и сердило то, что его образ жизни отличался от их собственного. Известность Нахмана не ус­тупала известности других цадиков, но он отказывался по­ходить на них. Он отвергал то, что они выставляли напо­каз, и с пренебрежением относился к тому, что они пре­возносили. Прочное положение и почести для него ничего не значили. Он окружил себя молодежью, отстранив ста­риков и богачей: первых — как «отягощенных печалью», вторых — «долгами». И это в те времена, когда стариков повсюду чтили за мудрость, а богатых — за щедрость!

К тому же своим последователям он предписывал уеди­нение и молчаливое размышление. Он даже советовал им удаляться от общины, вопреки, казалось бы, хасидским традициям, согласно которым жизнь в общине и совмест­ные молитвы обязательны для спасения. Традиционный хасидизм гласил: «Я» индивидуума находит свое воплоще­ние, растворяясь в «Мы» коллектива. Рабби Нахман гово­рил — сперва следует сосредоточиться на «Я» индивидуу­ма, изолируя его от всего остального. Таким образом, каж­дый брацлавский хасид, уединившись, ежедневно посвя­щал час раздумьям, в стороне от всего мира и даже от раб­би. Здесь уместно напомнить, что со времени Баал-Шема связь между рабби и хасидом почиталась неразрывной и необходимой — необходимой для рабби, чтобы быть раб­би, и для хасида, чтобы быть хасидом. Какое право имел рабби Нахман, правнук Баал-Шема, превозносить достоин­ства уединения и молчаливой молитвы? Отрицал ли он важ­ность этих связей?

Иногда он уезжал на несколько недель, оставляя уче­ников в замешательстве, а семью без гроша. Он ненавидел

обычай и собственность, стесняющие свободу. Он переезжал с места на место, двигаясь от открытия к открытию. Он любил жить и путешествовать инкогнито. Известно, что его преследовала идея разрыва с внешним миром. «Я возьму жену и уеду, далеко-далеко. Буду со стороны наблюдать людей и смеяться над их делами». Он боялся скуки больше, чем болезни, а повторения — больше греха. «Ангелы никогда не повторяют своих литаний», — говорил он, цитируя Талмуд. И объяснял: «Ангелы, возносящие хвалу Господу, никогда не остаются теми же. Господь изменяет их каждый день. Кто повторяется, повторяет себя, отдаляется от Бога и не угоден Ему».

Столь жестокие требования и наставления неизбежно приводили к кризисным ситуациям. Неугомонный рабби Нахман отпугивал окружающих внезапными и непредсказуемыми переменами настроения. Великолепно иллюстрируя на собственном примере найденное им сопоставление человеческой мысли с вечным движением маятника, он после экстатического общения впадал в глубочайшую депрессию, низвергаясь с *гадлут хамохин* — невероятного многословия — в пучину тоски — *катнут хамохин*. Когда он был весел, его веселость не знала границ. Историю о семи нищих он рассказал, «дабы показать вам, как можно веселиться». Когда же его охватывала печаль, в свое отчаяние он вовлекал весь мир.

Однажды, глядя из окна на рыночную площадь, Нахман увидел одного из своих последователей, некоего Хайкеля. Тот куда-то спешил. Он окликнул его и пригласил в дом. «Скажи, Хайкель, — спросил он, — видел ли ты небо сегодня?» — «Нет, рабби». — «А улицу, Хайкель, улицу ты видел сегодня утром?» — «Да, рабби». — «Ты и сейчас ее видишь?» — «Да, рабби». — «Расскажи мне, что же ты видишь». — «Ну... людей... лошадей... телеги... кареты. Торговцев — они размахивают руками. Шумят и бранятся крестьяне. Мужики, бабы бегают взад и вперед... Вот что я вижу». «Эх, Хайкель, Хайкель, — покачал головой рабби Нахман, — и через пятьдесят, и через сто лет здесь будет улица вроде этой. И другой рынок вроде этого. Другие экипажи будут возить других купцов, и они будут торговать другими лошадьми. Но ни меня, ни тебя уже не будет. Вот

я и спрашиваю тебя, Хайкель, какой прок в твоей беготне, если у тебя даже нет времени взглянуть на небо?»

Один из его учеников оставил нам такую молитву: «Владыка небесный, Тебе ведомо, сколь я невежествен, ибо даже не знаю, что умру однажды. Помоги мне. Сделай так, чтобы я узнал и осознал это. Помоги мне понять, что от грядущей смерти нет никакого спасения. И что одинок я буду пред ее лицом. Совсем один. Без друзей, без кого бы то ни было. Одинок и утративший память, желания и страсти. Сделай же так, чтобы в мою душу проникло это видение — желтый лик ужасного трупа».

Рабби Нахман оставил нам такое изображение человеческой судьбы: «Смертник сидит в повозке, влекомой двумя лошадьми, которым известен путь к виселице. Эти лошади зовутся День и Ночь, и как скачут они, как несутся!»

До него ни один рабби не говорил о жизни и смерти таким языком. Никто и никогда не рассказывал своим ученикам о таком кошмарном видении. Долг рабби — быть сильным и непоколебимым, уверенным в себе и своей власти. Долг Учителя — быть надежной опорой и без промедления оказывать помощь любому последователю, попавшему в беду.

Другим раввинам рабби Нахман был не слишком полезен. Некоторые нападали на него с беспрецедентной для еврейских обычаев жестокостью. Шпольский дедушка говорил: «Любому мучителю рабби Нахмана я обещаю место в раю». Самые непримиримые проклинали его самого и его учеников. В тексте отлучения содержится ряд ошеломляющих запретов: «Запрещается вступать в брак с их потомками, есть их пищу, вести переговоры с ними. Запрещается также посещать их службы, говорить с ними, отвечать на их вопросы. А также проявлять к ним жалость и даже видимость сострадания...»

Следует заметить, что к подобного рода декларациям нельзя относиться серьезно — даже в те времена их не принимали всерьез. Внутренние раздоры в этих кругах были тогда довольно частым явлением, и со всех сторон в изобилии сыпались проклятия и анафемы, которые, однако, никто не воспринимал буквально. И все же этот случай отличается от других: обычно в схватке участвовали ученики, а

рабби держались в стороне. В борьбу же с Нахманом втянулись даже рабби. Прежде всего, конфликт был идеологическим. Шпольский дедушка сказал: «Он родился на три поколения раньше чем нужно». Рабби Нахман будто бы на это гордо ответил: «Нет. Я пришел на три поколения позже, чем следовало». Философский спор, подогреваемый слухами и толками, распространявшимися из одного дома в другой, выродился в личную вражду. Нахман и его ученики, оставшиеся в меньшинстве, подвергались унижениям, которые превратились в настоящую травлю.

Рабби Нахмана это вполне устраивало. Чем чаще его атаковали, тем большее, по его словам, удовольствие он испытывал. Он говорил: «Мои противники воображают, будто вредят мне. На самом же деле они безмерно мне помогают. Каждым своим успехом я обязан им».

Еще он говорил: «Мне нужны люди, спорящие со мной. Это позволяет мне расти — я все время меняюсь. Если бы я подумал, что сейчас нахожусь там, где был раньше, я бы не захотел жить в этом мире».

Но и в долгу он не оставался — на удар отвечал ударом. И делал это весьма элегантно, никогда не снисходя до того, чтобы упоминать своих преследователей по имени. Не отвечая каждому в отдельности, он рассчитывался со всеми сразу. Для него они все были одинаковы — «светила» или «знаменитости», как он называл их. Он ставил их на место несколькими отточенными и хлесткими фразами. «Смотрите, и эти люди, даже не умеющие себя прилично вести, величают себя вождями народа!» Еще: «С тех пор, как сатана умаялся и не способен в одиночку управляться с целым миром, он положился на услуги знаменитостей». И снова: «Не сумев уничтожить человечество, Ангел смерти заручился помощью лекарей, разрушающих тело, и услугами «знаменитостей», разрушающих разум». В присутствии дочери известного цадика он высмеял ее отца: тот в течение девяти лет страстно молился, думая, что хасиды за стеной слушают его. Ему долго казалось, что он слышит их шепот. На десятом году он отворил дверь и увидел — кошка скребла пол.

Нахман признавал только одного подлинного рабби — самого себя.

Гордость? Да. Эгоцентризм? Да. То есть качества, неподобающие рабби? Еще раз да. Обычно хасиды боготворят цадика. В этом плане, как, впрочем, и во многих других, брацлавский рабби упредил своих поклонников. Он сказал им: «Каждый из вас — необитаемая, непригодная для жизни пустыня. Вот почему *Шхина* бежит от вас, вот почему я скитаюсь день и ночь. Я пересекаю пустыню, чтобы сделать ее пригодной для жизни».

В другой раз: «Если б мудрость моя явилась миру во всей своей полноте, человечество прожило бы без воды и без хлеба».

И еще: «Дороги изнемогают от желания ощутить поступь человека, идущего к своему цадику. И как только человек останавливается — дороги облачаются в траур».

Своей пастве он сказал: «Три вещи я уже сделал для вас. Первая: я избавил вас от тщеславия — даже в молитвах. Вторая: благодаря мне ваши грехи будут не столь тяжкими. Третья: отныне вы сможете разоблачать самозванцев, ибо отведали вина истины».

И еще: «Мессия — это тот, кто будет толковать мои труды».

Такая самонадеянность приводила других в ярость. Выходит, никто, кроме Нахмана, ничего не стоил, никто, кроме него, не заслуживал внимания и почтения к себе. Он не шадил никого, даже Баал-Шема: «Мне вовсе не нужны его тайные труды. Если прадеду понадобится меня увидеть, он знает, где меня найти». Он почитал себя равным святому Ари и рабби Шимону бар Йохаю: «В истинном мире все они будут испытывать нужду во мне, и всем захочется услышать то, что у меня найдется сказать». Как примирить подобную гордыню с каноническим образом рабби, чьей непременной добродетелью является смирение?

Рабби Нахман ответил бы, что цадик сопоставим с Творцом, а не с Его творением. Он вне нашего разумения. Мы не способны понять и не в состоянии судить его. Он выше гордости, выше смирения. «Смирен лишь тот, кто говорит, что он скромн, и остается таковым», — утверждал Нахман.

И еще: «Те, кто восхищается и восторгается мною, знают меня не больше тех, кто порочит и ненавидит меня».

Еще: «В мире есть две ложные идеи. Первая — будто праведник не может ошибиться; вторая — будто, совершая ошибку, он теряет величие». Он вправе не только заблуждаться, но и кичиться заблуждениями. Цадик имеет право не только казаться, но и быть тщеславным. «В сущности, — полушутя заметил однажды Нахман, — у меня имеются все достоинства и признаки Мессии, кроме одного: он явится, а я — нет».

Повременим с оценкой. Рабби Нахман обладал чувством юмора. Не в этой ли способности смеяться — ключ к его тайне? Чтобы понять ее, нам следует тщательно изучить центральное событие в его жизни: путешествие в Святую Землю.

Путешествие мечтателя, паломничество, достойное самого рассказчика и его историй. Путешествие, изобиловавшее неожиданностями, невероятными приключениями, сменявшимися друг друга с поразительной быстротой, полет в неведомое, в небытие.

Египетская кампания в разгаре. Наполеон стремится в Иерусалим. Война снова стучится в ворота Святой Земли. Именно это время рабби Нахман (сопровожаемый безымянным учеником) выбирает для путешествия. Люди тщетно пытаются урезонить, отговорить его. Учителя влечет неодолимая сила. Плохо налажено сообщение с Палестиной, опасны дороги? Вздор. Он просто не может остаться на месте, его гложет нетерпение. Однако едва его нога касается Святой Земли — с него довольно: он жаждет сию минуту вернуться домой...

Эта истинно эпическая поэма, переданная нам рабби Натаном, принадлежит к числу наиболее странных и прекрасных историй, когда-либо рассказанных рабби из Брацлава.

Сплошь и рядом, как по дороге туда, так и в период возвращения, его подстерегают неудачи. словно все преграды мира встали на его пути. Он притягивает опасность, играет с несчастьем. Ни одно злоключение не обходит его стороной. Он попадает на море — разражается буря. Останавливается передохнуть в городе — там вспыхивает чума. В Святой Земле молодой турок часами следит за ним, прежде чем вызвать на поединок. Повсюду его принимают за

наполеоновского шпиона. Он спасается от эпидемии, опустошающей Тверию, лишь для того, чтобы оказаться в осажденном Акко. Он забирается на крепостную стену только для того, чтобы проснуться на борту военного судна, где матросы пытаются обучить его обращению с оружием. Море враждебно ему, но не в большей степени, чем земля. Гонимый и преследуемый, он кочует из города в город, из тюрьмы в тюрьму. Судебные разбирательства следуют одно за другим, стоит ему где-либо появиться. В самый неподходящий момент, в самом неподходящем месте он ухитряется привлечь внимание самых безжалостных людей. Он даже умудрился попасть в руки пиратов. Рабби Натан сказал так: «Учитель наш и его спутник подвергались многим бедам в каждом городе, в каждой деревне, но Господь, да будет благословенно имя Его, пришел к ним на помощь и защитил от меча и чумы, от голода, жажды и плена, и они вернулись домой целыми и невредимыми».

Но давайте ненадолго вернемся назад. Если верить биографу, во время своего первого визита в Стамбул рабби Нахман вел себя крайне загадочно: слонялся босой, без пояса и шапки и проказил, словно расшалившийся ребенок. Одежду его раздувал ветер. Хихикая и размахивая руками, носился он среди торговцев на базарной площади и, точно мальчишка, играл в войну с французами.

Почтенный цадик, рабби Зеев, живший тогда в Стамбуле, принял его с почетом. На обратном пути Нахман всенародно высмеивал его: «В субботу, пока рабби Зеев, как и надлежит праведному человеку, молился на *бима*, рабби Нахман безмятежно уничтожал его ужин. Он притворился спящим, когда в окружении учеников рабби Зеев пел, усаживаясь за стол».

Многим Нахман отказывался отвечать, кто он и откуда. Как-то раз он назвался коэном (потомком первосвященника. — *Прим. пер.*), в другой раз — левитом, в третий — простым истраэлитом. Он словно провоцировал нападки и словно заметал следы. Он ярился по пустыкам и унижал людей, вызывая у них желание обругать или избить его. В конце концов, они начинали сомневаться в его рассудке, исполняя тем самым самое заветное желание рабби Нахмана. Ему действительно хотелось, чтобы люди относились к

нему с подозрением. Вот почему он менял личины и имена. Он хотел быть другим. Комедиантом, шарлатаном, шутком — кем угодно, только не цади́ком, только не рабби. Потому он и вел себя, как вырвавшийся на волю сумасшедший. Он хотел, чтобы в нем видели забытого Богом и людьми бродягу, брошенного скитальца, пришедшего ниоткуда и идущего в никуда.

К чему была эта игра? Чем ей надлежало закончиться? Приобретением какого-то нового статуса? Что означали эти несуразные повадки? Почему рабби притворялся сумасшедшим в Стамбуле, на рыночной площади?

В Брацлаве объясняли: все это — уловка, призванная сбить с толку... нет, отнюдь не рабби Зеева, а Сатану, который пытался помешать Нахману тем же способом, каким мешал Баал-Шему. Разыгрывая из себя беспечного, легкомысленного чудака, Нахман сумел перехитрить врага и успешно завершил путешествие. Лично я, впрочем, не стал бы трактовать поведение рабби Нахмана по хасидским шаблонам, вроде брацлавской версии. Я склоняюсь к объяснению, придающему основное значение его смеху.

Смех играет в его историях важнейшую роль. Повсюду у Нахмана встречаются персонажи, которые только то и делают, что смеются. Смеется природа. И до слуха человека, внимающего времени, доносятся лишь раскаты хохота.

Смех, рожденный сознанием безысходности, смех невеселый, безрадостный, смех — протест против бессмысленности существования, смех — мятеж против мира, вынесшего приговор человеку. Смех из сострадания к человеку, вынужденному мириться с двусмысленностью своего бытия и своей веры. Слепо покоряться Богу, не задаваясь вопросом о смысле подчинения, значило бы унижить Его. Желание понять Его значило бы низвести Его идеи. Его видение до нашего уровня. Как же тогда человек смеет принимать себя всерьез?

Мятеж не выход. Не выход и смирение. Остается смех, смех метафизический.

«Ад существует, — говорит рабби Нахман. — Но не на том свете, а на этом. Только никто не осмеливается это признать».

«Мне жаль Тебя, Создатель, да, мне жаль Тебя. Не следовало Тебе создавать мир и человека, которые не приносят ничего, кроме хлопот».

И еще: «Когда явится Мессия, все останется по-прежнему, разве что люди устыдятся своей глупости».

Рабби Нахман умел и любил смеяться — в первую очередь над собой. Он забавлялся с детворой, высмеивая в себе рабби. Он играл в войну, чтобы показать бессмысленность войн. Он выдавал себя за безумца, чтобы осмеять разум и его претензии, и за нищего странника, чтобы подчеркнуть нелепость богатства. Он изображал шута, чтобы освободиться от остатков гордыни, продолжавшей жить в нем. Он не мог бы поступать подобным образом в тех краях, где его знали. Вот почему дома он впадал в другую крайность — умиротворял гордыню, утрируя и доводя ее до предела. Превознося себя — с неправдоподобным, гиперболическим размахом — он умышленно окарикатурил свою личность.

Для чего? А для того, чтобы вызвать смех. И еще, конечно, для того, чтобы позлить противников. Но они оставались лишь поводом. Он метил выше. Гордыня — его наиболее обманчивая и наиболее удачная маска — позволяла ему смеяться во всеуслышанье. В одном из его рассказов мы читаем: «Была некогда страна, сосредоточившая в себе все страны мира. И в этой стране был город, соединивший в себе все города страны, а в городе — улица, являвшая собой все улицы города, а на улице — дом, под крышей которого вместились все дома улицы, и в том доме была комната, бывшая всеми комнатами дома, а в комнате сидел человек, вобравший в себя черты всех людей всех стран, и он смеялся, смеялся и смеялся...» Кто этот человек? Творец, смеющийся над Своим творением? Человек, посылающий Ему в ответ Его же смех, словно это эхо или вызов? Узнаем ли мы это?

Описывая последние минуты рабби Нахмана, рабби Натан говорит о том, что на его лице появилось «подобие улыбки», когда он прошептал: «Вот, приближается страшная гора. И я не знаю, мы ли идем к ней или она к нам». И добавил, взглянув на рыдающих учеников: «Пламя мое вечно. Не плачьте, я не покину вас». Его приверженцы вос-

приняли эти слова как обещание и истолковали их буквально. В результате они решили, что у него не будет преемника. Цадик из Брацлава оставался для них живым. Упомянув о нем, они употребляют настоящее время. Вот почему их прозвали «мертвыми хасидами» или «хасидами мертвеца».

В моем городе их не было. Позднее я встретил некоторых в Иерусалиме: их *штибл*, привлекает тех, кто любит истории и песни, отмеченные печатью ностальгии. Если вам доведется там побывать, вы увидите кресло рабби Нахмана. Хасиды из Советского Союза перед выездом разобрали его, и составные части кресла пересекли множество границ, прежде чем очутились в Иерусалиме. Ни одна деталь не пропала. Ни один из хасидов этого удивительного братства не умер по дороге. Старый сторож могилы рабби, русский, обратившийся в иудаизм и ставший брацлавским хасидом, пользовался тем же чудесным покровительством: избежав тысячи опасностей, он невредимым добрался до Израиля.

Многие последователи Нахмана до сих пор совершают паломничества в Умань, чтобы отметить дату его смерти, предаваясь размышлениям у могилы Учителя и распевая псалмы.

Но первого моего хасида из Брацлава я встретил там, в царстве тьмы. Каждому, желавшему слушать, он повторял слова своего рабби, единственного рабби, пережившего самого себя: «Ради всего святого, евреи, не отчаивайтесь». Он молился и рассказывал истории. Я забыл его имя. Но не голос. Я все еще слышу его слова: «Знаешь, когда рабби Нахман чувствовал себя по-настоящему одиноким? Когда он был не один. Он мог безмолвно кричать посреди толпы, и крик его доносился до края земли... Вот как мы здесь... Мы никогда не одиноки. И все же никогда мы не были так одиноки. И так безгласны. Только наш крик не услышан».

Он любил повторять изречение рабби Нахмана: «Два человека, разделенные временем и пространством, могут общаться. Один задает вопрос, а другой, позже, совсем в другом месте, задает другой вопрос, не сознавая, что его вопрос — это ответ на первый».

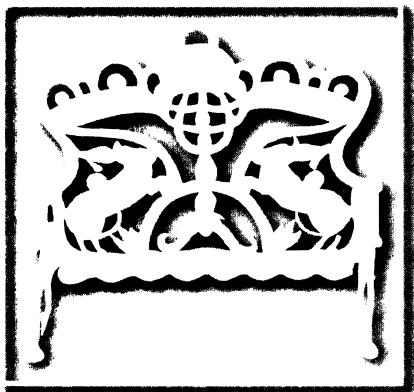
Однажды ночью кто-то спросил его: «Что бы сказал твой рабби Нахман тысячам мужчин, женщин, детей, умирающих здесь, в этом мире, в эту ночь? Кто мог бы ответить на их вопрос?» Стало очень тихо, а затем его болезненно искривившиеся губы прошептали: «Кто говорит, что мы — вопрос? А что, если наши смерти и есть ответ?»

В заключение давайте перескажем одну из историй рабби Нахмана, которая, подобно прочим, остается достойным и сегодняшнего дня, и вечности.

«Давным-давно жил да был царь. Узнал он, что грядущий урожай будет проклят, что каждый, кто к нему прикоснется, сойдет с ума. И вот, велел он построить огромный амбар и сложить туда все, что осталось от последнего урожая. Ключ же он отдал своему другу и сказал ему: «Когда подданных моих и меня поразит безумие, только ты сможешь войти в хранилище и есть незараженную пищу. Тебя не затронет проклятие. Но взамен тебе придется исходить всю землю, из страны в страну, из города в город, из улицы в улицу, придется идти от человека к человеку, рассказывая о том, что случилось с нами, и будешь ты голосить: «Люди добрые, не забывайте! На карту поставлена ваша жизнь, ваше спасение! Не забывайте, не забывайте!»

Друг царя исполнил повеление и вошел в легенду, а легенда эта включает в себя все остальные. В ней живет человек, и человек этот смеется, смеется и плачет, смеется и поет, смеется и мечтает, смеется, чтобы не забыть о своем одиночестве и о том, что царь, его друг, сошел с ума. Но смеется ли царь? Это вопрос, который содержит в себе все остальные вопросы и дает начало новой истории, — о царе и его друге, разделенных безумием, но соединенных смехом, огнем и мраком.

ШКОЛА ПШИСХИ





Давным-давно, когда в Кракове обретались еще евреи, не боявшиеся сновидений, жил да был в этом городе человек по имени Айзик, сын Йекеля, — бедный, благочестивый и бесконечно наивный. День и ночь его терзали заботы: как заплатить за жилье, да мяснику, да учителю. А дочери, дочери! Ведь их нужно приодеть и в срок выдать замуж.

Айзик, бедный Айзик! Что он имел, кроме забот и напастей? Что ему оставалось? Он молился. Ежечасно, во время каждой службы и в промежутках между службами. В синагоге, на улице, дома умолял он Господа вспомнить о нем, слуге Своем, обремененном долгами слуге, который не может больше так жить. Тщетно. Похоже, Бог не слышал Айзика; тем не менее он продолжал упрашивать. Ни набожность, ни нищета его, однако, не убавлялись.

Но вот однажды привиделся ему странный сон: будто оказался он в столице далекого королевства, под мостом, неподалеку от огромного дворца. И голос сказал ему: «Это Прага, река называется Влтава, а это — королевский дворец. А теперь смотри, смотри хорошенько, ибо под мостом этим, как раз на том месте, где ты стоишь, зарыто сокровище. Оно ждет тебя, оно твое. И ты избавишься от забот».

Проснувшись поутру, Айзик усмехнулся. Сон, конечно, славный, что и говорить, только ни денег, ни пользы от него нету. И он отмахнулся от сновидения. Но в следующую же ночь, едва он смежил глаза, перед ним встали дворец, река, мост. И тот же голос спросил: «Ты хочешь разбогатеть или предпочитаешь прозябать в нищете?»

«Что за вздор», — подумал Айзик. Отправиться в Прагу? Хорошенькое дело. У него нет на то ни малейшего желания. Во-первых, он никого там не знает, во-вторых, это страшно далеко. И дорого. А денег нет. А кабы были, так известно, что с ними делать. Домохозяин — раз, мясник — два, учитель — три... В общем, сновидениям Айзик предпочитает молитвы. Может, хоть одна из них прогонит, наконец, навязчивый сон?

В ту же ночь Айзик в третий раз услышал голос: «Как? Ты все еще здесь?» Чтобы положить конец этой чепухе, которая его скорее раздражала, чем занимала, он решил повиноваться зову. По крайней мере, разделаться со всем этим! И он тронулся в путь — пешком, разумеется. Через несколько недель Айзик добрался до Праги, голодный и измученный. Он узнал мост, реку, дворец: все началось сызнова — он опять видел сон. Нет, уже не сон. Воистину странно, думал он. Вот то самое место под мостом. А если попробовать? Собственно говоря, что я теряю? Вырою яму и посмотрю. Но приступать надо осторожно, не торопясь. Мост охраняется, и стража ничего не должна заподозрить. Набираясь храбрости, Айзик нерешительно топтался вокруг заветного места, пока его не заметили и не арестовали. Начальник стражи заподозрил его в шпионаже. Айзик, слишком напуганный, чтобы лгать, поведал ему правду. Сны, тревоги, долгий путь из Кракова, воспоминания. Айзик был уверен — капитан обзовет его лжецом и прикажет расстрелять. И ему показалось, что он снова видит сон, когда грозный страж чуть не лопнул со смеху. Он хохотал так, что слезы ручьями струились по щекам: «Ты что, действительно из-за этого тащился в такую даль? Вы, евреи, еще глупее, чем я думал! А теперь посмотри-ка на меня, взгляни на меня, взгляни хорошенько. Если б я был дурнем вроде тебя, если б тоже прислушивался ко всяким там голосам, знаешь, где бы я сейчас находился? В Кракове.

Да, да, я не оговорился. Представь себе, черт знает сколько времени по ночам какой-то голос твердит мне: «В доме краковского еврея по имени Айзик, сына Йекеля, ждет тебя сокровище. Под печью». Само собой, половину евреев в этом городе зовут Айзик, а других — Йекель, и у всех есть печки. Представь себе, будто я ношусь из дома в дом, разворачиваю печи и ищу сказочный клад!»

Айзика, разумеется отпустили. Он поспешил домой, снес печь и, конечно, отыскал обещанный клад. Потом заплатил долги, выдал замуж дочерей и, в знак благодарности, построил синагогу, которая так и называется «Синагога Айзика, бедного благочестивого еврея, оставшегося набожным даже тогда, когда перестал быть бедным».

У этой истории, как и у большинства хасидских притч, много авторов. Но обычно называют двоих: Нахмана из Брацлава и Симху-Бунема из Пшисхи. Рабби Нахман заменил Прагу на Вену и сказал: «Сокровище — дома, а знание (сведения о нем) — в Вене». Рабби Бунем, принимая нового ученика, всякий раз повторял эту притчу: «Вспомни Айзика, сына Йекеля. Сокровища нужно искать только в себе самом и нигде больше, даже в своем цадике».

Умный и смелый ученик решился бы задать Учителю обескураживающий вопрос — действительно ли клад принадлежит Айзику, одному Айзику? А как быть с начальником королевской стражи? Как насчет его доли? Рабби Бунем мог бы возразить (предвосхитив ответ некоторых своих последователей) — эта история акцентирует значение не сокровища, а мечты. У двух людей может быть одна и та же мечта, но грезы одного становятся реальностью другого.

Как бы то ни было, интерпретация рабби Бунема и традиция, сложившаяся в Пшисхе, придавали притче конкретный и актуальный смысл: человек способен достичь совершенства и без цадика, истина познается только в самом человеке, а не вне его. Не стоит идти неведомо куда, дабы найти того, кто поможет познать истину. Лучше остаться дома. Одному. Таков завет Пшисхи...

Пшисха — маленькое местечко в Польше, где хасидизм Баал-Шема, вызванный к жизни набожностью и созерцанием, пережил возрождение, отмеченное знаком гнева и тревоги.

Перенесемся в начало XIX века, в эпоху наполеоновских войн. В Европе, захлебывающейся кровью, все рушится: власти, границы, троны. Народы познали новые, освобождающие, но и губительные страсти. История озаряется вспышками пламени. Хлещет кровь. В церквах меняются обряды, на тронах — короли. Патриотизм, национализм, романтизм — множество новых слов становятся силой, заставляющей людей разбивать явные и тайные оковы.

В раввинистических кругах эти события окрашиваются мессианскими настроениями. Говорят о Гоге и Магоге, об их титанической, апокалипсической борьбе. Все явственней убеждаются хасиды в том, что настоящие сражения ведутся не генералами и императорами, а цадиками, — к сожалению, разобщенными. Если бы только они могли мобилизовать свои силы на поддержку одного-единственного императора, одной армии, то война бы закончилась и мир был бы на пороге избавления.

Дабы ускорить приход Мессии, объединили усилия трое великих Учителей: Люблинский Ясновидец, Маггид из Кожниц и рабби Мендл из Риминова. Они разработали план действий — увы, неудачный. Бог наказал заговорщиков: все трое умерли в том же году.

Наказание явно незаслуженное: ведь Учители питали добрые намерения. Евреи нуждались в Мессии, наверно, больше, чем когда-либо. Человеческое общество в целом двигалось вперед во всех областях, но, как обычно, евреи остались вне семьи народов.

В Восточной Европе евреи особенно нуждались в спасении. Поляки, фанатичные антисемиты, преследовали их не меньше, чем, допустим, австрийские либералы. Юный талмудист стоял перед выбором между военной службой, с одной стороны, и эмансипацией, т. е. светским обучением, свободной моралью — короче, атеизмом — с другой. Добавьте к этому различные экономические стеснения, делавшие жизнь евреев убогой повсюду, особенно в изолированных местечках, где они всецело зависели от милости приходского священника и прихоти землевладельца. На них обрушивались налоги, выкупы, законы, введенные с одной-единственной целью, — держать их в состоянии непрерывного унижения. Измученные погромами и обманчивыми месси-

анскими надеждами, они находились на грани отчаяния. Без хасидизма они примирились бы с гибелью.

Еврею-отщепенцу, рабби говорил: «Твой личный опыт не бессмыслен, это часть некоей реальной сущности, которая его учитывает. Знай, что вечность присутствует во всем, что любой стол может стать алтарем, а любой человек — первосвященником. Знай, что много стезей ведет к Богу, но самая верная из них — путь радости, а не слез. Знай, Бог не любит печаль и страдание, и меньше всего Богу нравится, что ты намеренно предаешься им. Бог не так уж недоумен для понимания: Он не ревнует ни к твоему счастью, ни к твоей доброте. Напротив: путь к Богу лежит через человека. Спящее дитя, заботливая и нежная мать, старик, прислушивающийся к шелесту деревьев — Бог рядом с каждым из них. Бог в каждом из них».

В тот момент еврейской истории это выглядело настоящим откровением. Превознося любовь, дружбу, порыв, а не аскетизм, ученость или строгое соблюдение Закона, хасидизм вернул иудаизму многих евреев, согбенных под бременем мирских тягот и готовых к поражению.

Вот почему менее чем за 50 лет хасидское движение охватило эту часть Европы. Успехи соратников Баал-Шема и учеников Маггида превзошли самые смелые ожидания: из искры, теплившейся между Косовом и Кутовым, вспыхнуло пламя, осветившее ночное небо, вырвавшееся из тьмы лица людей. Не было общины, не затронутой новым течением. Имелись три главных центра хасидизма: на Украине, в Белоруссии и в Польше. Хасидизм гордился своими философами, такими как Шнеур-Залман из Ляд, своими заступниками, такими как Леви-Ицхак из Бердичева, своими проповедниками, рассказчиками, героями и святыми. Противники пытались воспрепятствовать его стремительному развитию. Тщетно. Хасидизм одержал победу, ибо стал защитником нового, улыбчивого — подлинного иудаизма, иудаизма, приучающего человека к мысли о счастье. В сущности, это был призыв к радости.

Хасидизм преуспел еще и потому, что сумел сформировать рабби, символизировавших собой его учение. Рабби — исповедник, учитель, руководитель и, сверх того, отец. Он не громовержец, он кроток и милосерден. Добрый пастырь,

он защищает свое незадачливое стадо от всевозможных невзгод, чинимых людьми и небесами. Благодаря ему, сломленные и измученные могли собраться с духом и более не чувствовать себя отверженными Богом и народом Израиля.

Оказалось, что легко быть хасидом, легко быть евреем. Человек знал, куда идти, что говорить и что делать, какого благословения просить и как его добиваться. Рабби отвечал на все вопросы. Приняв на себя страдания своих последователей и всего еврейского народа, он облегчил эти муки. Действительно ли он творил чудеса? Да или нет, и да и нет — неважно. Чудом было то, что евреи обнаружили в себе желание и силу воздать хвалу жизни, когда на горизонте сгущались багровые тучи и все явственней ощущалось приближение бури. Благодаря рабби хасид вновь обретал уверенность в себе, он мог снова обосноваться во времени и утвердить себя в надежде. На чужбине изгнанник устроил свой храм и создал свое царство. Да, Баал-Шем выиграл битву. Угнетенный и поверженный еврей заручился внутренней свободой, позволившей ему остаться евреем. Маггид из Межирича тоже достиг намеченной цели. Он проложил путь другим. У каждого рабби имелись теперь свои ученики, у каждого цадика — своя паства.

Самую поразительную победу хасидизм одержал в Польше, где среди его противников не нашлось людей такого масштаба, как Виленский Гаон, обладающих достаточной силой, чтобы соперничать с первыми Учителями. Всюду: в Кракове, Бродах, Львове — пытались они проводить кампании против хасидизма. Некоторые фанатики даже отлучили «новую секту». Напрасно. Отворачиваясь от них, евреи внимали зову хасидских песнопений.

Но в самом триумфе таилась опасность. Победы давались чересчур легко. Не вызывая противодействия, новое движение рискует ослабеть изнутри — в интеллектуальном, социальном, а порой и в моральном отношениях.

В Литве, где ему приходилось сражаться за каждую позицию, за каждого нового приверженца, хасидизм оказывал благотворное воздействие на еврейскую духовную жизнь. Сопrotивление стимулирует, обогащает и умудряет протиборствующие стороны. Бросить вызов Аврааму Каценеленбогену и Виленскому Гаону — дело непростое. Вож-

дям хасидизма, вынужденным защищаться от нападков и обвинений, выдвигавшихся авторитетнейшими раввинами, поставленным в условия, при которых уход от ответа был невозможен, нужно было всегда оставаться настороже. Им доводилось бороться против упрощения и вульгаризации своих духовных ценностей.

В Белоруссии и до некоторой степени на Украине хасидизму нередко по тем же причинам удалось создать влиятельную интеллектуальную элиту.

В Польше развитие пошло по другому пути. Хасидизм победил и довольно быстро популяризировался — как в лучшем, так и в худшем смысле этого слова. Возникло сформировавшееся движение, уважаемое, представительное, со своим сводом законов и обычаев, праздников и запретов. Здесь в меньшинстве оказались уже митнагеды; привилегии же перешли к хасидам, которые — правда, только в еврейской среде — чувствовали себя в безопасности.

Именно успех грозил превратиться в роковое препятствие. Цели хасидизма изменились, хотя сущность осталась та же. Роль рабби преобразовалась. Из надежного друга и советника Учитель превратился в профессионального и убогого чудотворца. В отличие от Баал-Шема, приблизившего человека к Богу и Его мирозданию, новые цадики собирались посредничать между человеком и его судьбой. В итоге евреи пренебрегали повседневными занятиями и тянулись к блеску и роскоши. В конце концов, все зависит от цадика; дайте ему только творить чудеса, на то он и цадик. В результате движение выигрывало в количестве столько же, сколько теряло в качестве, форма вытеснила содержание — чистоту идеи подменила «слава». Это особенно чувствовалось в небольших общинах, объединенных вокруг цадика.

Наконец рабби Мендл в Риминове резко выступил против культа чудотворцев: «Соберите толпу идолопоклонников вокруг полена, велите им орать, что это чудо, и из чурбана тоже посыплются чудеса».

Существовала и другая опасность: некоторые учителя начинали основывать династии. Это было абсолютно чуждо раннему хасидизму. Его основоположник говорил, что каждый человек — потенциальный Баал-Шем, что духов-

ные ценности — не передаются по наследству. Поэтому его преемником стал Маггид из Межирича, а не сын Бешта рабби Цви-Герш. Преемником Маггида также стали ученики последнего. Место Пинхаса из Кореца вообще осталось незанятым. А Мендла из Риминава после смерти заменил его друг. Однако традиция нарушилась: в Люблине сын Ясновидца считался наследным принцем. Повсюду хасиды отчаянно спорили о привилегиях и сферах влияния.

Что же, собственно, случилось с течением, за поколение до того возникшим в Карпатских горах и потребовавшим от всех своих сторонников отказа от иерархических символов?

Сперва хасидизм был обещанием, заверением, проповедью — вестью о том, что каждый человек ежедневно обновляется. Все складывалось просто и гармонично. А теперь? По одну сторону рабби, по другую — поклонники, обладавшие иным статусом и потому отделенные от него. Куда девались заветы и песнь Баал-Шема? Не превратился ли поначалу разрушавший косные представления хасидизм в очередной иерархический институт со своими руководителями и послушной толпой, принцами и слугами: с важными, чванливыми рабби и рядовыми хасидами? Этот ли хасидизм был создан Баал-Шемом?

С подобными вопросами приходится сталкиваться, если хочешь понять причины и скрытое значение происходившего в Пшисхе.

Трое мятежников: Яаков-Ицхак, прозванный «Евреем», Симха-Бунем, Менахем-Мендл — это и есть школа Пшисхи. Все трое общались в Люблине с Ясновидцем. Самый младший уехал первым. Старший, Яаков-Ицхак, — последним, и с большой неохотой.

У раввинского сына Яакова-Ицхака было обычное, наполненное учением детство. Уже подростком он выделялся среди товарищей знаниями, сдержанностью, застенчивостью и меланхоличностью. Женился он молодым. Его жена, дочь булочника, не принесла ему счастья, — скорее, напротив. Неспроста он однажды поведал историю об ангеле, который за равнодушие к людям был наказан — осуж-

ден жить на земле и жениться. Яков-Ицхак никогда не смеялся. Его, особенно в юности, преследовала мысль о смерти. Говорят, он хотел умереть. К счастью, он повстречался с Моше-Лейбом из Сасова и Авраамом Иехошуа Гешелем из Апты, и те обратили на него внимание и приобщили к хасидизму. Вскоре по их совету он уехал в Люблин и стал там любимейшим учеником Ясновидца, в течение многих лет оказывавшего ему особое внимание. Его знания, память, аналитические способности были легендарными. В Люблине тот, кого не насыщали крохи мудрости, разбрасываемые народу Ясновидцем, шел учиться к Якову-Ицхаку. В конце концов Ясновидец повелел ему обзавестись собственным «двором». Слава ученика стремительно росла, главным образом, среди молодых интеллектуалов, но столкнувшись с интригами и клеветой, — так реагировали на его успехи в кругу Ясновидца, — Яков-Ицхак, преисполнившись решимости, смешанной с сердечным сокрушением, покинул Люблин и отправился в Пшисху.

Напомним: рабби из Пшисхи поступил с Ясновидцем так же, как сам Ясновидец со своим Учителем — Элимелехом из Лизенска. У обоих учителей и обоих учеников много общего: даже отношения между ними развивались одинаково. В хасидизме история повторяется. Ясновидец никогда не порицал Рабби Элимелеха. Рабби из Пшисхи никогда не выказывал обиду на Ясновидца и до конца дней считал себя его учеником. Яков-Ицхак из Пшисхи вообще не признавал, что между ним и Ясновидцем произошел разрыв. И все же разрыв, как мы увидим, оказался реальностью: ученик распрощался с заветами Учителя и со временем не раз вступал с ним в споры.

О многом говорят самые имена, взятые обоими рабби. Ясновидец — пророк, мечтатель — считал себя выдающейся, недостижимой личностью, тогда как его ученик, предпочитая безвестность, отказался даже от собственного имени и своего «Я».

Откуда взялось прозвище «Еврей»? Тексты Пшисхи предлагают много объяснений. Первое: поскольку имя Яков-Ицхак совпало и именем Ясновидца, он не хотел носить его из уважения к Учителю. Другая версия: он создал в своем воображении столь благородный образ еврея,

что всю жизнь стремился походить на него. Еще одно свидетельство: он никогда не придавал значения своим ученым изысканиям и достижениям, более того, приписывал их некоему анонимному «Еврею». Еще одно: разгуливая по ярмаркам, на манер Баал-Шема, он столкнулся с пророком Илией, переодетым в крестьянское платье. Яаков-Ицхак уставился на пророка так, что тот взорвался: «Еврей, раз уж ты знаешь, зачем же говорить?» Что ж, «Еврей» не вымолвил ни словечка, но из почтения к словам пророка сохранил это имя.

Однако есть и другая, более правдоподобная гипотеза, усматривающая в выборе прозвища сознательный или неосознанный акт протеста. Слишком уж много развелось цадиков, слишком много Учителей. Поэтому он предпочел называть себя просто «Еврей»: так, один из многих. Все его высказывания и притчи отражают отвращение к самолюбованию коронованной элиты. Вслед за Баал-Шем-Товом он ставил в центр мироздания человека, а не титулованного вождя, и, подобно Баал-Шем-Тову, не доверял «правлящим кругам».

Еврей считал себя учеником Баал-Шем-Това. Переселение в Пшисху символизировало возвращение к Меджибожу. Как основоположник хасидизма, он начал с обучения маленьких детей, как Баал-Шем, носил крестьянскую одежду и, как Баал-Шем, странствовал в поисках жизненного опыта и неожиданных встреч.

Его отъезд из Люблина вызвал громкий протест. Враги Яакова-Ицхака распространяли слухи о личной вражде между Учителем и учеником. Это неправда. Он регулярно ездил из Пшисхи в Люблин и делал все возможное, чтобы избежать раскола. Он оставался верным Учителю (но не его взглядам) даже после того, как Ясновидец отверг его и попросил никогда больше не приезжать.

В идеологическом плане этот разрыв был воспринят как предостережение. Осторожно! Тот, кто ведет благоустроенное существование, рискует поддаться обманчивым иллюзиям. Ключевое слово Еврея — *тшува* — значит одновременно покаяние и возвращение. Возвращение к Богу, возвращение к истокам. Настала пора пересмотреть все ценности и начать все заново.

Это был первый конфликт, первая революция в хасидизме. Никогда прежде молодые пуристы не осмеливались усомниться в установленном порядке и вершить суд над своими старейшинами, родителями и движением в целом. Мятельники, возглавлявшиеся Учителями — создателями школы Пшисхи, были идеалистами, а посему никакие официальные санкции никогда против них не применялись.

Последнее обстоятельство вызывает удивление, если учесть, что Еврей и двое его преемников не слишком благожелательно отзывались о хасидской верхушке. О Ясновице Еврей говорил, что он великий Учитель, несмотря на свои чудодейственные слабости. Чудеса, говорил он, вершить нетрудно, быть евреем куда труднее. Он как-то заметил: «Думаю, я мог бы заставить Мессию явиться, но мне мешают так называемые цадики, которым явно не хватает скромности».

Своему другу Бунему он жаловался: «Грустно мне, грустно. История нашего народа приводит меня в отчаяние. Видишь ли, хоть много в ней мрачных страниц, а все же Бог в прошлом всегда нам давал могущественных вождей и пастырей. У нас был Моисей. Затем Иехошуа. Судьи, цари, пророки. Потом танаи, амораи, гаоны, каббалисты. Недавно у нас был Баал-Шем-Тов, Маггид. И они помогли нам. А ныне я вижу, что с каждым годом свет меркнет и тьма сгущается над нами. Что станет с нашим народом?»

С еще большей тревогой вторил ему его ученик Менахем-Мендл из Коцка: «Все дальше и дальше уходим мы от света Синая, но не приближаемся к свету Мессии».

«Когда придет Мессия, — говорил Еврей из Пшисхи, — все рабби и их последователи кинутся ему навстречу. Мессия же прогонит их со словами: «Заберите своих рабби — и прочь с глаз моих». А затем хасиды вернуться. Но уже одни...»

Характерно, как он прославил безвестного кузнеца: «Всем, что я знаю, всем, чем я обладаю, я обязан ему. Он был моим соседом, когда после свадьбы я жил в доме тестя. Кузнец вставал, бил по наковальне и будил меня грохотом. Однажды утром я сказал себе: если он так упорно трудится и так рано встает из-за денег, то позволено ли мне делать меньше для обогащения души? На следующий день я поднялся раньше него. Кузнецу это не понравилось: «Коли уж

юнец, состоятельный бездельник жертвует сном ради пустяков, то как могу я, которому нужно кормить семью, валяться в постели?» На следующий день он встал раньше меня. Это молчаливое состязание пошло мне на пользу. Каждый день мне удавалось учиться все больше и больше, и вот, благодаря кузнецу, я приобрел все, чем обладаю».

Однако на вопрос: «Чему ты научился в Люблине?» — он загадочно ответил: «Быстро засыпать».

Несомненно одно: в Пшисхе предпочитали усердных кузнецов усердным цадикам.

Почему же тогда Еврей принял титул и корону рабби? Потому, что его заставили? Возможно. У тогдашних хасидов принято было избирать вождя, и избраннику приходилось подчиняться. Так произошло с рабби Бунемом, рабби Мендлом, и задолго до того — с Великим Маггидом из Межирича. У Еврея из Пшисхи просто не осталось выхода: решение вынес сам Ясновидец. Но истинная причина заключалась в ином: Еврей согласился, ибо верил, что не будет походить на прошлых рабби. И оказался прав.

Он отказался от почестей и привилегий, отверг льстецов и подобострастных почитателей. Он провозгласил, будто навяжет свою волю небесам. В отличие от других рабби, он не обсуждал с посетителями их насущные заботы. Он ничуть не желал решать эти проблемы за них. Его главной целью было восстановить атмосферу духовности в хасидизме. Его не волновали обычные людские тяготы и неурядицы — он передавал их на усмотрение Божье. Его задача — спасти движение, становившееся все более и более беспочвенным, искусственным и надуманным. Набожности и молитве отдавалось предпочтение перед изучением и знанием. Внешние признаки хасидизма приобретали непомерное значение, требовалось вернуться к глубокой внутренней жизни. Учителя и ученики были чересчур довольны друг другом и самими собой. Они нуждались в хорошей встряске. Рабби и Перец, преданный ученик и верный друг Еврея, прогуливались как-то в лесу. Прислушиваясь к птичьему щебетанию, Перец промолвил: «Хотелось бы знать, что они говорят». «А то, что ты сам говоришь, ты понимаешь?» — откликнулся Учитель.

В другой раз: «Один бесконечно толкует о рае, другой выбивается из сил, чтобы заслужить себе там место, а я бы с радостью отдал свое любому, кто предложит мне глоток воды».

Раз в субботу, после третьего блюда, он скорбно обратился к гостям: «Завтра вы вернетесь на работу — а работаете вы тяжело, я знаю. Если бы я спросил, зачем вы мучаетесь, вы бы сказали мне, что это не ради себя, а ради детей, что вы хотите вырастить их хорошими евреями, добрыми и богобоязненными. Да, так бы вы мне сказали. Именно это говорят люди на разных языках тысячи лет. Человек работает и работает без передышки, не для себя, но ради своего чада, а я жду...» Он помолчал и совсем грустно добавил: «Я жду моего истинного чада».

Кого он имел в виду? Мессию? Вероятно. А может, просто человека, честно признающего, что трудится для себя — не на потомков. Ибо Еврей ничто так не презирал, как неискренность и напускную искренность.

Чтобы выбить учеников из привычных, шаблонных рамок, он прибегал к своеобразной психотерапии. Ученику, избравшему молчание средством очищения языка, он приказал достичь той же цели, но не молчанием, а словесным общением. Некий эмансипированный еврей пришел к нему побеседовать на теологические темы. Еврей молча снял с себя шапку и надел ее на гостя. Тот начал заикаться и понял — ему нечего сказать.

Затраченное усилие значило для него больше, чем достигнутый результат: «Праведник теряет ночью то, что приобрел днем. На утро он должен трудиться так же упорно, как и днем раньше».

Ничто не дается даром; всего нужно добиваться самому, считали в Пшисхе. Лучше поднять, приобщить профана к святыне, нежели профанировать святыню. Лучше привести человека к Мессии, чем Мессию к человеку. Нелегко? Пустяки. Важно знать, знать, что цель еще не достигнута. Верить тому, кто твердит о своей праведности, — заблуждение. Верить, — что можно лгать человеку и не лгать при этом Богу, — тоже заблуждение. «Правда — печать Бога, — сказал Еврей из Пшисхи, — ибо она исключает возможность подделки. Поддельная правда — уже не прав-

да. Правда, разделенная, разбитая не есть правда. Тягчайшим пороком в Пшисхе считалось лицемерие. «Мне кажется, — говорил рабби Бунем, — я мог бы вернуть на путь истинный любого грешника, кроме лжеца». Но худшим из лжецов считался в Пшисхе тот, кто лжет самому себе.

Понятно, непримиримость Пшисхи отталкивала от нее множество других, более традиционных направлений хасидизма. Некоторые рабби переходили в контрнаступление, пытаясь перенести спор с идеологической почвы на личную.

Хасидский мир ополчился против Пшисхи, пустив в ход клевету и сплетни. Выдвигались самые невообразимые обвинения, призванные опорочить Еврея и его преданных приверженцев. Известные цадики, в том числе Нафтали-Гирш из Ропчиц, учинили суд над новой школой. Еврея обвинили в неуважительном отношении к Ясновидцу, в намерении занять его трон, в распространении опасных идей и реформ, в отклонении от общепринятых норм проведения службы (в Пшисхе не существовало определенных часов для молитв), в подстрекательстве молодежи против отцов и Учителей.

Тщетно Еврей взывал к крупнейшим деятелям хасидизма: Маггиду из Кожниц, Мендлу из Риминава, чтобы своим авторитетом они восстановили мир между Пшисхой и Люблином. Конфликт разгорался.

Вдобавок в Пшисхе имелись свои фанатики, не признававшие никаких компромиссов, противившиеся всякому примирению. Они верили в *азут дикдуша* — силу святого высокомерия, и охотно прибегали к нему. Внутренняя рознь всегда отличается особой жестокостью. Каждая сторона обвиняла другую в отступничестве — хуже того, в предательстве учения Баал-Шема. В Пшисхе утверждали, что все остальные отреклись от своего хасидского долга. Люблин отвечал тем же.

И все же, при жизни Еврея вражду порой удавалось ослабить. Он был до последнего дня предан Ясновидцу и не хотел причинить ему боль, не хотел опорочить его образ. Хотя именно люблинская община оклеветала и обесчестила Еврея, он отказался выступать против своего старого Учителя. Если бы он прожил дольше, то, быть может, су-

мел бы предотвратить окончательный разрыв. Но он скончался молодым, в расцвете сил и таланта. Что послужило причиной его преждевременной смерти? Печаль, вызванная тем, что любимый Учитель отвернулся от него? Юношеская тяга к смерти? Этот силач, который, «одной рукой мог раздавить пять орехов», внезапно заболел. Ничего не известно ни о природе его болезни, ни об обстоятельствах, сопутствовавших смерти. Он умер в 1818 году, в возрасте 48 лет, ровно за столетие до конца первой мировой войны. Его второй преемник, Менахем-Мендл из Коцка, обрек себя на затворничество в 1839 году, за столетие до второго пожара, охватившего континенты и народы.

В промежутке между Евреем и Менахемом-Мендлом пост рабби занимал рабби Бунем, личность не менее интересная и чрезвычайно самобытная. Он вообще не смахивал на рабби: иначе одевался; говорил на «немецкий манер», то есть по городской моде. Все в нем блистало эlegantностью: одежда, походка, манеры. Несмотря на талмудическую подготовку и эрудицию, он зарабатывал на жизнь, сперва торгуя лесом, потом в качестве аптекаря. В хасидской литературе он фигурирует как «Купец из Данцига» и «Аптекарь из Пшисхи». Эти прозвища он придумал сам и сохранил их за собой до конца жизни.

Рабби Бунем — путешественник и любитель всяких экстравагантностей — во время деловых поездок по большим городам, посещал весьма странные места и еще более странных людей. Он играл в шахматы и карты, спорил с вольнодумцами, безбожниками, так называемыми «просвещенцами»; брэнчал на гитаре и охотно ходил в театры и трактиры — они ему нравились. Хуже того, порой он заглядывал и в кабаре, разумеется, чтобы наставить заблудших на путь истинный.

И однако, после смерти Еврея осиротевшие ученики его обратились не к одному из сыновей покойного, а к Купцу из Данцига. Потому, что он славился обширными знаниями? Или потому, что прослыл преданным другом Еврея? Потому, что последовал за ним из Люблина? Или потому, что в Пшисхе уже проложил путь Менахем-Мендл из Коцка? Быть может, рабби Бунем выглядел своеобразным мостом, человеческим мостом, между двумя вулкана-

ми. А возможно, в Пшисхе возникло желание бросить вызов высшему обществу: «Смотрите, наш рабби не сын знаменитого цадика, а аптекарь. Он даже не похож на рабби. Видите, как обманчива внешность».

Вероятно, в каждой из этих гипотез есть правда. Так или иначе, рабби Бунем вначале удивился: он не искал, не хотел этого назначения. Его просто... призвали на службу. Даже после вступления в должность он отказывался «принимать» у себя хасидов и вести себя сообразно с представлениями о поведении рабби. А все-таки теперь, глядя в прошлое, мы понимаем, что он оказался лучшим и, разумеется, самым квалифицированным из возможных претендентов. Возможно, он не был столь вдохновенным, как те двое, зато не хуже их умел вдохновлять учеников. А в этом-то умении вдохновлять и кроется могущество истинного рабби.

Один из его учеников объяснил, в чем состоит величие Бунема: «Помните, что случилось с Елисеем? Елисей был простым пастухом и разговаривал не с людьми, а со своим стадом. Однажды он повстречал пророка Илию, и с этого момента стал другим человеком — в его душе вспыхнул огонь. Вам хочется узнать главное о рабби Бунеме? Нет ничего проще. Сколь бы ни ожесточилась ваша душа, какой бы ни была она ледяной пустыней, при его прикосновении в ней вспыхнет пламя».

Неудивительно, что молодые хасиды нескончаемым потоком потянулись в Пшисху. Новобрачные бросали юных жен, сыновья — родителей, впоследствии то же самое происходило в Коцке. Повинуясь зову обновленного хасидизма, они приходили, влекомые жадой истины, протеста, рвения. Пшисха была таким же магнитом, притягивающим интеллектуалов и идеалистов, каким несколько лет спустя стал Коцк. Пшисха символизировала возможность вопроса, смелость сомнения, попытку эксперимента, отбрасывающего прочь пороки и груз прошлых лет.

В Пшисхе хасидизм снова обрел молодость, отвагу и энтузиазм достаточно жизненный, чтобы преодолеть все препоны.

Притягательная сила Пшисхи была для молодежи настолько велика, что консервативные лидеры решились дей-

ствовать открыто, дабы остановить распространение нового течения. Такую возможность предоставила им широко известная в хасидской литературе свадьба в Остиле. В присутствии почти двух сотен цадиков, возглавляемых почтенным рабби из Апты, Пшисху подвергли суду. Много писалось о свадьбе и о заслонившем ее разбирательстве. Защитники и обвинители блистали красноречием, эрудицией и доскональным знанием различных оттенков хасидской идеологии. Выслушав доводы за и против, Авраам Иехошуа Гешель из Апты отказался вынести Пшисхе обвинительный приговор. Мудрое решение: благодаря ему хасидизм занял место среди немногих движений, допускающих в своей среде полемику и мятежи.

Таким образом, Пшисха не откололась от хасидского движения, хотя и противостояла традиционному хасидизму.

В чем же ключевая идея Пшисхи? В том, что величие и трагедия человека заключаются в амбивалентности его состояния. Человек должен верить, что вселенная создана для него одного, памятуя вместе с тем о своем ничтожестве. Человек одновременно и прах, и носитель жизни, символизирующий свое собственное бессмертие. Человек слаб и уязвим — слишком слаб, чтоб познать истину, но и всемогущ, ибо поиск и есть в конечном счете его оправдание.

Разумеется, следует различать нюансы: Еврей, говоря о еврее, подразумевал вообще человека. Рабби Бунем, говоря о человеке, имел в виду еврея. Оба они, а их преемник из Коцка даже в большей степени, хотели, чтобы человек верил, что у него есть все необходимое, дабы извлечь силу из отчаяния, которое определено ему судьбой. Поскольку человек одинок, он помогает себе подобным и тем самым разрывает свое одиночество.

Каждый из них выразил себя по-своему. Еврей предпочитал афоризмы. Рабби Бунем — притчи, а Менахем-Мендл из Коцка — молчание.

Еврей скончался молодым; Коцкий рабби — в одиночестве, в страшном одиночестве. Рабби Бунем умер слепым. Услышав рыдания жены, он сказал: «Почему ты плачешь? Боишься? Я не боюсь. Всю свою жизнь я только и делал, что учился умирать».

Рабби Бунем был блистательным рассказчиком. Каждая его история светится юмором, печалью и мудростью. Вот одна из них:

«Однажды мне захотелось рассказать историю, вернее, во мне зашевелилась история, которой очень хотелось, чтобы ее рассказали. Честно говоря, я испугался, ибо это была, что называется, смелая история. Я почувствовал, что стоит мне рассказать ее, как самые ревностные последователи перестанут называть меня рабби. Ну, а враги наконец поймут, за что они меня ненавидят. И все-таки я не смог удержать ее, она прямо-таки рвалась наружу. Итак, я рассказал ее. И к моему великому удивлению, даже враги стали восхищаться мною».

Образ: «Иногда мне кажется, что каждый человек — это одинокое дерево среди пустыни, и у Бога нет больше никого в целом мире, так же как у человека нет во всем мире никого, кроме Бога».

Притча: «Царевич купил чистокровного жеребца и, чтобы уберечь от воров, поместил его в каменной конюшне. Перед ее запертыми воротами стоял вооруженный стражник. Как-то ночью, мучаясь бессонницей, царевич решил прогуляться, и вот, когда он проходил мимо конюшни, ему показалось, что стражник чем-то озабочен. «Эй, — окликнул царевич стражника, — в чем дело?» «Да вот, ломаю голову над вопросом — куда известка девается, когда в стенку гвоздь вбивается?» «Серьезный вопрос, — сказал царевич, — хорошо, что ты размышляешь над ним». И он вернулся домой и улегся в постель. Прошел час, но он никак не мог уснуть. Снова он направился к стражнику, который сидел и размышлял, подперев голову руками. «Ну, что теперь? — спросил царевич. — Что теперь тебя мучает?» — «Э... как вам сказать... Куда дырка девается, когда бублик съедается?» «Глубокий вопрос, — сказал царевич, — хорошо, что ты размышляешь об этом».

Он вернулся и лег в постель. Когда он в третий раз спустился вниз, сторож снова пребывал в раздумьях. «Опять вопрос?» — любопытствовал царевич. «Да... Я все спрашиваю себя: конюшня здесь, стены здесь, да и я здесь, но жеребец — куда он, черт возьми, провалился?»

Обычно рабби Бунем объяснял свои притчи, предупреждая, однако, что их подлинный сокровенный смысл не подлежит истолкованию: «Тайна тайн не разглашается».

Притча: «Царевич споткнулся о пьяницу, развалившегося на дороге, и решил как следует проучить его. Он приказал доставить его в замок и уложить в постель, а рядом с кроватью повесить епископскую мантию. Наутро пьянчуга, продрав глаза, никак не мог уразуметь, кто он такой и куда попал. Слуги, оказывая подобающее «сану» уважение, помогли ему облачиться в епископские одежды. Все замечательно, кроме одного — ему так и не удалось припомнить, что он когда-нибудь был епископом. Однако через некоторое время его осенила мысль: да почему, собственно, я считаю себя пьяным мужиком, переодетым епископом? А если наоборот — вдруг я епископ, вообразивший себя пьяным мужиком? И он решил выждать — терять-то пока нечего. Он испугался по-настоящему, лишь когда слуги принесли инкрустированный золотом молитвенник. Коли сумею читать, стало быть, я и вправду епископ, подумал он. Он открыл книгу — и не смог прочесть ни слова. И тут мужик вновь засомневался, а может, он все-таки епископ. То, что он не умеет читать, еще не доказывает обратного. В конце концов, откуда известно, что другие епископы грамотны?»

Вывод: человек не должен доверяться внешней стороне событий. Это одна из основных тем Пшисхи — миры, населенные призраками. Ей сопутствуют темы упущенной возможности, несбывшегося желания. Человек мог бы желать, да не хочет. Или хочет, но слишком поздно. А потом — и это худшее из проклятий — он забывает о том, что может хотеть...

Другая, самая грустная притча: «Желая наказать сына, царь ссылает того в дальние края. Царевич, изнемогая от голода и холода, ждет указа о возвращении. Проходят годы, он теряет последние силы. Но вот в один прекрасный день государь отправляет к сыну гонца, готового исполнить любое желание царевича. Посланник ждет указаний, а царевич... царевич просит у него всего кусок хлеба и теплую одежду. Он забыл, что он царевич и может вернуться в отцовский дворец».

В Пшисхе хасиды предъявляли к себе непомерные требования, служившие для человека гарантией от забвения.

«Забвение лежит у истоков изгнания, память — у истоков избавления», — сказал Баал-Шем. Впрочем, в Пшисхе окончательным избавлением не слишком интересовались. Люди размышляли о Мессии, но не пытались ускорить его приход. Они работали скорее на себя, чем на Бога. Цель не в том, чтобы заставить Мессию прийти, а в том, чтобы идти к нему, приспособливая мир к душевным потребностям человека. Ожидание затягивается? Не беда. В Пшисхе дел хватает, да и торопиться некуда. Кроме того, грядущие мессианские времена их пугали. «В дни эти, — предсказывал рабби Бунем, — летом будет не жарко, а зимой — не холодно. Мудрецы позабудут мудрость, а хасиды рвение».

Его преемник, Менахем-Мендл из Коцка, пошел дальше. Он понял — зловещие пророчества могут сбыться и без избавления. Отсюда его страдания. Неужели нет никакой связи между творением и Творцом, оком и видением, страхом бегства и страхом воссоединения? Неужели человек не способен поведать о своих муках даже Тому, от Кого они исходят?

Для сегодняшнего рассказчика Пшисха — это ворота, распахнутые в прошлое, откуда настоящее озаряется нестерпимо ярким светом. Это клад, и в поисках его мы устремляемся из Кракова в Прагу, а оттуда в Рижин и в Сигет, — а найти его негде. Ибо кто-то из нас — хасид ли из Пшисхи, ребенок ли из Вижницы — уже нашел и уже потерял сокровища. Но не забыл о них. Еще не забыл.

МЕНАХЕМ-МЕНДЛ ИЗ КОЦКА





Тде-то в Центральной Европе, между Варшавой и Люблином, затерялось маленькое местечко, название которого навеваает грезы: Коцк.

Год 1839.

Зима. Валит снег. Прижавшись друг к другу, домишки и хижины медленно исчезают в безмолвной ночи. Низко висит небо над пустынными улицами. Местечко, затаившее дыхание, кажется призрачным.

А в неказистой избе самые пылкие, самые требовательные последователи хасидизма готовятся к первой субботней трапезе. Сидя в *Бет-Мидраш* за прямоугольным столом, накрытым традиционной белой скатертью, они не чувствуют пронизывающего холода. Глаза их устремлены на возбужденного уродливого человечка: рабби. По обычаю ученики ждут, когда он освятит вино и хлеб. Но рабби не торопится. Что с ним? О чем он думает в этот ничем не примечательный безмятежный вечер? Словно больной, он с трудом переводит дыхание. В его вздохе, обращенном на свечи, — древняя и невыразимая мука. Гости подавленно молчат. Что-то в нем тревожит и пугает их, что-то должно произойти: кто знает, какие стены какой крепости собирается низвергнуть рабби, чтобы в пролом ворвалась буря —

какая буря? Тягостное молчание не предвещает ничего хорошего. Никто не осмеливается пошевелиться или просто взглянуть на соседа в робкой надежде обрести спокойствие. Вот-вот распадется время и мысль тайная станет явной. И вдруг рабби — он выглядел старше своих 50 лет — со свирепым и наводящим ужас лицом откидывает голову назад и...

На этом история обрывается. Никто не знает, что именно тогда стряслось. И сегодня, через 130 лет, тайное остается тайным. Очевидцы, похоже, поклялись никогда не упоминать о чем-либо, имевшем отношение к происшедшему. Никто не нарушил заговор молчания, но загадка сохранилась, хотя смысл ее, видимо, утерян.

Той ночью в Коцке произошло что-то чудовищное, невыразимое. До сих пор хасиды вспоминают об этом, но говорят о событии только в тщательно завуалированных выражениях и только между собой. Одни толкуют о помрачении, другие — о болезни непонятого происхождения. Некоторые полагают, что в тот вечер рабби, по причинам, известным лишь ему самому, решил поразить землю и горный мир, отказавшись служить праведным посредником между ними. Среди многих более или менее фантастических версий, бытующих среди хасидов и их противников, отметим лишь некоторые, чтобы несколько прояснить этот эпизод и, главное, характер самого рабби.

После долгого тягостного молчания, пишет некий польский романист, еврей по национальности, рабби преступил законы субботы, погасив субботние свечи.

Вторая версия: прервав размышления, рабби внезапно начал обличать вечные раздоры, окрашивающие всю еврейскую историю. Говорят, он вскричал: «Неужели я должен поверить, что *«лет дин велет даян»* это история «Без судьи и без справедливости?»

Третья версия более реалистична: узнав о новых погромах, опустошающих еврейские общины Польши и России, рабби гневно стукнул кулаком по столу и вскричал: «Я требую, чтобы справедливость восторжествовала, я требую, чтобы Высший Судия повиновался Своим собственным законам!» В ту субботу надлежало читать отрывок из Библии, в котором повествовалось, как Эсав уступил первородство Якову. И рабби продолжал: «В Талмуде написано,

что впоследствии Эсав, сожалея о сделке, пролил три слезы. И эти три слезы мы все еще оплакиваем кровью в бесконечном изгнании. Сколько еще нам платить? Неужели этому никогда не будет конца?» Тут, взглянув на лица перепуганных слушателей, рабби взорвался: «Что вы уставились на меня? Бойтесь? Кого? Чего? Ваш страх мерзок! Вы жалкие трусы, лгуны и лизоблюды! Убирайтесь, слышите — подите вон, я хочу остаться один!»

Какая из трех версий (а есть ведь и другие) соответствует истине? Этого никто не знает. Тем не менее известно, что все они заканчиваются одинаково: рабби упал без памяти и его отвезли домой, где он прожил анахоретом целых 20 лет — вплоть до самой смерти.

После этого происшествия минули недели, месяцы, в течение которых он не принял ни одного посетителя и не выказал ни малейшего интереса к внешнему миру. За службой он следил через два отверстия, специально просверленных в двери. Его призывали к Торе — он являлся закутанный в талес, взъерошенный, с потухшим взглядом, сея сумятицу одним своим видом. Он почти не ел и не спал, не позволял врачам лечить, а друзьям — утешать себя. Он более не обучал людей и не предавался суетным заботам. Рабби не хотел ни давать, ни получать. Он совершенно не интересовался никем из своих учеников, а те продолжали стекаться к нему со всех концов, влекомые трагическим обликом Учителя.

Иногда ночью можно было увидеть, как, сторбившись, он сидел за столом, уставясь в пространство невидящим взглядом — тень среди колеблющихся робких теней, отбрасываемых дрожащим огоньком свечи.

Рабби Менахем-Мендл из Коцка.

Или проще: Мендл из Коцка. Учитель поневоле, разгневанный праведник, святой мятежник. Среди тысячи хасидских учителей, великих и малых, со времен Баал-Шема и до второй мировой войны, он, несомненно, — наиболее загадочная, обескураживающая и самая трагическая фигура. Обычно между человеком и легендой о нем ощущается некая нетождественность, несоответствие. Но в данном случае реальность превосходит воображение. Если есть в хасидизме Учитель, не умещающийся в свой литературный

образ, несомненно приукрашенный, то это Менахем-Мендл.

О нем рассказывают множество историй, но все они бросают лишь слабый свет на его личность и не идут дальше намеков. Он присутствует в каждой истории, но даже совокупность повествований не дает о нем полного представления. Он — искрящееся, могучее, свободное, всеохватывающее пламя. Чем больше о нем говорится, тем загадочнее его тайна. При его жизни люди не осмеливались взглянуть ему в лицо. Давно уже мертвый, но по-прежнему могучий в легенде, Менахем-Мендл продолжает судить нас, словно он наш современник.

После него не сохранилось портретов, не оставил он и наследников. Никаких следов бытия! Все скудные сведения о нем: его привычки, бесчисленные начинания и затем внезапные вспышки гнева, его призывы и его молчание — сберегли для нас немногочисленные товарищи и ученики, чье присутствие он терпел. Утверждают, будто он записывал свои размышления, но уничтожал записи так же быстро, как и создавал их: уничтожал ночью то, что писал днем.

О нем говорят то же, что о двух предшественниках Мендла. До предела уплотнив все то, что необходимо, но невозможно сказать о человеке, его судьбе и земном пути, он пытался вместить это... в одну-единственную страницу.

Страница должна была превратиться в трактат под названием «Книга человека». Каждый день писал он ее только для того, чтобы порвать в клочки с наступлением ночи.

«Знаешь, почему я ничего не публикую? — спросил он одного посетителя. — Видишь ли, кто, спрашивается, будет читать меня? Не ученые, не эрудиты — они знают больше моего. Читатель должен почувствовать, что знает меньше, чем я. Кто же этот читатель? Бедный крестьянин, всю неделю работающий в поте лица. Когда он может раскрыть книгу? В субботу. А в какое время? Только не в пятницу вечером — он слишком устал. В субботу утром? Но утро отведено для молитв. После службы он возвращается домой; наслаждается трапезой, распевает любимые песни, а затем мирно отдыхает. Наконец-то у него появляется возможность заглянуть в мою книгу. Он берет ее, открывает. Увы, мой читатель объелся и отяжелел. Он начинает кле-

вать носом, засыпает и роняет мое сочинение на пол. Так стоит ли выпускать книгу?»

Даже на смертном одре он мучился страхом, что его работы переживут его. Беспokoйно обращался к старому другу Ицхаку Меиру из Гера: «Все ли ты осмотрел? Все ли углы обшарил? Ты уверен, что все сожжено? Что все уже пепел?»

Учение его сохранилось в устных рассказах. Как и легенды о нем. Легенды, полные трепета и боязни. В них нет радости, столь характерной для хасидизма. Слушая их, чувствуешь себя подавленным, опаленным мрачным пламенем, полыхающим под покровом бесконечной ночи.

В отличие от других хасидских историй, истории, рассказанные в Коцке, редко вызывают улыбку. Они тревожат и слушателя и рассказчика. Обоих мучит ощущение неудовлетворенности и едва ли не угрызения совести за то, что они живы, за то, что завлечены в лживый мир, обреченный на распад и гниение. «Написано, — говорил Менахем-Мендл, — оглядел Бог свое творение и нашел, что оно весьма хорошо. Я этого не нахожу. Я разборчивее и требовательнее Его. С существующим миром мне делать нечего — разве что плюнуть на него». Ученику, пожаловавшемуся на несовершенство и несообразности мироздания, он ответил: «Ты мог бы сделать лучше? Если да, чего же ты ждешь? Принимайся за работу!» Но сам он считал, что «овчинка не стоит выделки». «Мир, — сказал Менахем-Мендл, — не заслуживает даже стога». Ему не верилось — неужели человек может не сознавать отчужденности от времени, среды, судьбы наконец. Он говорил: «Я чужой здесь, это не мое место».

Истории и изречения рабби из Коцка узнаются мгновенно: на них печать автора. Высказывания других учителей часто неразличимы. Его творчество абсолютно индивидуально.

Оно берет начало в духовном мире Менахема-Мендла, мире, в котором человек, обуреваемый навязчивыми идеями и раздираемый противоречиями, из последних сил бьется с тем, что отталкивает и в то же время притягивает его, с тем, что возвышает и вместе с тем низвергает личность: со смертью, верой и вечностью. Этот мир, в котором отчаяв-

шийся человек находит в себе силы изыскивать малейшую возможность победы, какой бы призрачной, какой бы робкой ни выглядела надежда на фоне всепоглощающего мрака.

Мендл из Коцка хотел, чтобы человек тянулся к истине — пусть даже он никогда не достигнет своей цели, пусть мстительная правда ослепит или умертвит любого, кто откроет ее. Вера — это не все. Есть вера слабых, сломленных людей, обманывающих самих себя. Для Мендла из Коцка «Не укради» означает: «Не укради у самого себя. Не вводи себя в заблуждение».

Заметив юного ученика, погруженного в размышления, он спрашивает: «Ты помнишь совет Талмуда: «При встрече с дурным человеком нужно лишь привести его в *Бет-Мидраш*?» Неужто ты и впрямь считаешь, что, приведя его сюда, ты выполнишь задачу? Нет. Везде есть свой нечистый — и на рынке, и в «Доме учения». И избавиться от Искусителя совсем не просто».

Итак, вера не является панацеей. Даже истина уязвима и поддается искажениям. Где же выход? В решительном отказе от компромиссов. Может быть, найти истину — задача непосильная, однако человек способен отвергнуть ложь и лицемерие, искоренить в себе вора и обманщика. Самым страшным грехом Мендл из Коцка считал самодовольство, порожденное самообманом. Человек унижает себя не неудачами, а теми оправданиями, к которым прибегает. Лучше погибнуть, чем исказить истину — вот идея Коцка. Это суровый и бесстрашный вызов, вызов человека, рассматривающего себя в упор. Человека, не верящего в то, что, совершая благодеяние, он преподносит Богу щедрый подарок. Человека, соблюдающего Закон ради самого себя, а не для кого-нибудь другого, пусть даже Бога.

Повсюду старались во всеуслышание служить Богу и предавали Его тайком. В Коцке все было иначе. Говорили, что легче уличить любого хасида в чудовищном грехе, нежели обнаружить в коцком хасиде неукоснительное подчинение Торе.

Ученик жалуется Мендлу: «Я пришел из Рижина. Там — все ясно и просто. Я молился и знал, что молюсь. Я учился и знал — я учусь. Здесь, в Коцке, все перепуталось, все смешалось. Я измучился, рабби, я страдаю. Я не знаю, как мне быть. Ради Бога, помоги мне, чтобы я смог молиться и учиться, как раньше. Ради всего святого, помоги мне избавиться от мук».

Рабби пристально смотрит на залитое слезами лицо ученика: «А кто сказал тебе, что Богу нужна твоя молитва и твоя учеба? Что, если Ему нужнее твои слезы и твои страдания?»

На этом уровне человеку предстоит выбор между двумя крайностями: либо стремиться к звездам, либо к гибели; безжалостная правда или губительные иллюзии; последнее воздаяние или неминуемое проклятие. Либо одно, либо другое — третьего не дано. По слову рабби из Коцка: «Середина дороги — для лошадей». Путь человека к Богу — не царская дорога, а безлюдная тропа, проходящая по высотам, либо же по низинам. «Одной ногой я стою на седьмом небе, другая — проваливается в бездну». Компромисс — для слабых, уступка — для трусов. «Об одном прошу вас, — обратился он к ученикам, — прежде чем стать затворником, — будьте сильными, даже если для этого вам придется противиться судьбе. И если в поисках истины вам придется противостоять Богу, что ж, да будет так!»

Однажды, в канун *Симхат-Тора*, рабби смотрел, как его хасиды танцуют со свитками Торы в руках. «Так не танцуют», — сердито бросил он. Чтоб угодить ему, они начали снова, с еще большим воодушевлением. «Нет, — раздраженно буркнул он, — не так». После нескольких безуспешных попыток хасиды замерли в ожидании, и рабби, наконец, взорвался: «Представьте себя на вершине скалы, на лезвии бритвы, а теперь танцуйте, танцуйте же, говорю вам!»

Трудно? Не имеет значения! Кто говорит, что быть человеком — значит быть благодушным и невозмутимо спокойным? Кто говорит, что быть евреем — значит примириться с собой и покориться судьбе? «Пусть сердце разорвется на куски, — бушевал он, — пусть ноша будет непо-

сильной, пусть обрушатся небеса и земля уйдет из-под ног, — человек не должен уклоняться от своего пути». Чем больше препятствий, тем достойнее усилие. Неважно, что на этом пути, следуя от открытия к открытию, человек сталкивается с неведомым Богом, Богом, который не уступает. Человек обязан бороться, не считаясь ни с чем. Неудивительно, что Мендл из Коцка превозносил фараона; ведь тот бросил вызов самому Богу! «Что за человек, — восхищался рабби, — он не дрогнул, когда на него обрушились несчастья, а упрямо шел своей дорогой». Главное — принять вызов, выйти на битву, избрав противника более сильного, более могущественного, чем ты сам.

Яков сделал это. Всю ночь он боролся с ангелом. Одержав победу, он на рассвете расстался с ангелом. Это было ошибкой: ему следовало бы догадаться, что ангел не раз еще вернется, в разных обличьях, возможно даже, в образе самого Якова, ставшего Исраэлем — Исраэлем, который отважился бросить вызов Богу и связать с Ним свою тайну и свое имя.

Всю жизнь Мендл из Коцка вел борьбу с ангелом и мраком. Он сражался в одиночку. Один против человека, один против неба, против мертвых предков и их традиций, обременяющих память каждого из нас.

Вот почему в его историях внимание сосредоточено не на ответе, а на вопросе, на жажде, а не на средстве ее утоления, на поиске, а не на цели. Важно действие; несущественно, если оно обречено на неудачу. Для рабби из Коцка человек — это последний одинокий ратник, которому уже не на кого надеяться: «Мессия придет, но для избавления уже никого не останется».

Разумеется, примечательная ярость Коцка, рожденная в Пшисхе, не укладывается в традиционный хасидизм, очерченный Баал-Шемом и его соратниками. В Коцке песнь Баал-Шема превратилась в вопль страдания и знак предостережения.

Мендл из Коцка не похож на других рабби и чужд им так же, как Еврей и рабби Бунем. Цель, поставленная им перед собой, и облюбленные им средства наделяют его

притягательной силой, а школу его превращают в источник волнений.

Он восстает против рутины и стереотипов, обрушивается на все табу движения. По его мнению, хасиды слишком много и высокопарно болтают о любви и совершенстве. Самые чистые, самые возвышенные понятия при частом и назойливом их повторении теряют свой смысл и силу. Он, Мендл из Коцка, решает спасти хасидизм, поставив ему новые цели.

Честолюбивый и высокомерный, рабби переоценивает свои возможности, он считает себя достойным преемником Баал-Шема: «Баал-Шем никогда не говорил, что не будет человека, более великого, чем он». Менахем-Мендл не удовлетворяется простым распространением учения. Ничего, кроме презрения, не испытывает он по отношению к тем, кто избирает проторенные пути, к тем, кто уступает привычке. Повторять других или самого себя — равно унижительно. В чем он усматривает свою задачу? Он хочет открыть неизведанные пути, стать провозвестником, первооткрывателем, разрушающим шаблонные представления и социальные условности, хочет разоблачить обманщиков, пересмотреть прежние достижения и выявить их иллюзорность. В противном случае хасидизм неизбежно утратит истинное назначение.

Дерзость он превратил в добродетель. Слепая вера раздражала его так же, как посредственность. «В аду, — сказал он, — молятся лучше, чем в раю». Он глубоко презирал фанатиков, обивающих пороги цадиковых прихожих. «Десять праведников, — сказал он, — могли спасти Содом. Но десять мудрецов не могут просветить сонмище глупцов. Хуже того: тысяча дураков сделают ученого мужа таким же дураком, как они сами».

Призвать к порядку его невозможно, запугать никому не под силу. Принуждение лишь побуждает рабби к дальнейшим действиям. Чем яростней на него нападают, тем неуязвимее он себя считает. Слова «риск» для него не существует. И тем хуже для тех, кто не способен понять его.

И вот, его святыня объята пламенем. Пламенем, которое возвещает катастрофические пожары на других континентах. Европа, расколота молниями войны, гадает о бу-

душем и отвергает прошлое. Народы меняют облик и судьбы. Революция во Франции, революция в Америке. Наполеон перекраивает мир по своему разумению; одни монархи свержаются, другие наделяются еще большей властью. История пробуждается, заставляя людей дрожать от ужаса, более того, вынуждая их размышлять, в том числе и в Коцке. Мучительные изыскания приводят рабби к одиночеству, а затем к безумию. Для него муки и одиночество обретают в хасидизме свои права.

Кто же он, Менахем-Мендл из Коцка? Он родился в Горде в 1787 году, в семье стекольщика; 14 лет от роду женился, получив 1000 дукатов приданого. Благополучная и размеренная жизнь не принесла ему счастья, и через год он порывает с отцом — яростным противником хасидизма — и примыкает к Ясновидцу из Люблина, которого впоследствии покинет с тем, чтобы последовать за Евреем из Пшисхи.

«В моем городе жил старик, который любил рассказывать истории. А я любил слушать их. Он рассказывал, что хотел, а я запоминал то, что западало мне в душу. Вот так я и сделался хасидом», — вспоминал рабби Мендл.

После смерти Еврея он остается с его духовным преемником рабби Бунемом и в свою очередь приходит тому на смену. В это время ему исполняется 40 лет. Он живет в Томашове, потом в Коцке, где умирает в возрасте 72 лет, почти слепой и преисполненный отвращения к жизни.

Его собственная жизнь была сплошным бунтом: сначала против отца, потом против своего первого Учителя и, наконец, против сподвижников. С каждым годом этот бунт становился все более дерзким и страстным, обращенным против всего мироздания, а иногда и преступавшим его пределы.

В Люблине и Пшисхе, в отличие от других учеников, он всегда плыл против течения. Он так угрюм, резок и замкнут, что его называют «Мрачным Мендлом». Он не участвует в деятельности общины, не отличается словоохотливостью и предпочитает, чтобы его оставили в покое. Его познания и престиж ученого-талмудиста настолько велики, что ему предоставляется полная свобода действий и возможность

жить в уединении. Мендла считают чудачком, но к чужому мнению он равнодушен. Углубившись в себя, он почти не поддерживает контактов с внешним миром. Похвалы ему в тягость, развлечения мешают. Громогласные стенания и плач верующих вызывают у него презрение. Ясновидец, опекающий своих любимых учеников, считает необходимым побеседовать с ним. Вначале он восхваляет его труд, преданность, успехи, достигнутые во всех сферах, но затем требует большей общительности: «Берегись, Мендл, твой путь ведет к унынию, опасному и губительному». Мендл оскорблен. Ясновидец прочитал ему наставление — пусть! Но зачем он прибег к похвалам и предупреждал об опасностях? Это неприемлемо. Неужели Ясновидец думает, что Мендла можно обольстить и испугать? Кому нужен Учитель, опекающий учеников, а не растрavляющий их души? И он уезжает в Пшисху, не попрощавшись с Ясновидцем. В Пшисхе, где ему предстоит стать Учителем, он находит друзей: рабби Бунема, рабби Ханоха, рабби Герша и рабби Ицхака-Меира, будущего рабби из Гера.

Вот как рабби Ицхак-Меир завоевал симпатии Мендла. Это произошло в Новогодние праздники, во время *Минха*. Все жарко молились. Лишь Мендл, одиноко застывший в углу, даже не шевелил губами. Эта сдержанность привлекла внимание Ицхака-Меира. Он стал преданным другом Мендла. Мендл, фанатичный нонконформист, отвергающий общепринятые нормы, молился по-своему: молча. Он был единственным, кто отказался читать псалмы по умирающему Ясновидцу. «Вопль, застывший в горле, могущественнее извергнутого, — сказал он позже. — Одни переживания можно передать словами, другие, более глубокие — молчанием, а иные ничем, даже молчанием, передать нельзя». Ну и что? Разве переживаниями надо делиться? Их просто нужно пережить, вот и все. Разве истина должна быть явленной? Ее просто нужно искать. Вот и все. А вдруг она скрывается в печали? Зачем же искать ее в другом месте?

Здесь мы вновь возвращаемся к ключевому слову Коцка: истина. Сокровеннейшая тайна мироздания, она стоит едва ли не больше веры. В Коцке истина превратилась в

навязчивую идею. Ей отдается предпочтение перед всем остальным, она заслоняет собой привычные ценности: молитву, даже ученье, не говоря уже о радости, восторге, душевном спокойствии. Человек призван познать истину, а не счастье. Человек, избранный Богом, должен в свой черед избрать Бога. Необходимо пересмотреть все заново. Все готовые ответы, все кажущиеся неизменными устои нужны лишь для того, чтобы те, кто любит спать и жить спокойно, не мучились угрызениями совести и чтобы не тратить жизнь на погоню за истиной, притворяются, будто нашли ее. Но, как говорится в Кошке, само откровение, превратившееся в привычку и видимость, становится сомнительным. Все богатства мира рабби променял бы на крупицу истины. А впрочем, какие там богатства? От этого слова его тошнит. И от вида денег тоже. Все, что блестит, для него — рвотное средство. Почести? Он презирает почести, оказываемые другим, но еще больше те, которые оказываются ему. Неудивительно, что самые обязанности рабби вызывают в нем яростное сопротивление. Закоренелый индивидуалист, он не может примириться с представлением, что человек, какое бы звание у него ни было, способен разрешить проблемы своих собратьев. Нельзя жить по доверенности: никто не сможет искать за тебя.

В тебе прячется вор, его трудно узнать, ибо он — это ты. И чтобы извергнуть вора, следует проникнуть в себя. Никто не сделает это за тебя. И никто не станет за тебя и ради тебя взывать к истине. Никто не сможет быть твоим посредником, так же, как ты не способен быть им для другого. Твои взаимоотношения с истиной — твое дело, ничье другое. Итак, мрачный Мендл отказывается от сана раввина. Скорее, он видит себя в роли антираввина. Но даже его сопротивление имеет границы. Мендл вынужден уступить желанию своих товарищей: после смерти рабби Бунема он восходит на трон.

Справедливости ради следует сказать, что его друг Ицхак-Меир уступает ему эту честь. Хасиды предпочли бы в роли наставника Ицхака-Меира более близкого и доступного им человека. Они уважают, но побаиваются мрачного Мендла. Они не понимают его, не могут объяснить, почему в его присутствии их охватывает смутная тревога.

Целую ночь провели двое друзей — Мендл и Ицхак-Меир — за беседой в трактире: каждый уговаривал собеседника взять на себя заботу о душах Пшисхи и тем самым обеспечить сохранение школы. Из этого разговора до нас не дошло ни слова. Летописцы молчат. Известен лишь конечный результат.

Молодой Менахем-Мендл, заменивший рабби Бунема, провел в Томашове два года, — без сомнения, лучшие два года своей жизни... Казалось, для него нет никаких преград.

Преисполнившись энергией, беспредельной фантазией, энтузиазмом, он превращает общину в лабораторию новых идей, в экспериментальный центр возрождающегося хасидизма. Люди говорили: «Искра, высеченная в Пшисхе, разгорелась в Томашове». Велеречивых ораторов и чудотворцев хватало повсюду. В Томашове преобладало возвышенное стремление к познанию, к истине. Рабби не творил чудес, не отпускал грехи и не сулил места в раю. Почитатели не блаженствовали в его присутствии. Сообща, повинувшись единому порыву, они искали и изучали истину. Хасидизм снова тронулся в путь.

Молодежь отовсюду стремилась в Пшисху, ставшую столицей юношеского царства. Временами можно было увидеть странные сцены: матери и брошенные жены осаждали дом рабби, умоляя вернуть им сыновей и мужей. Тщетно. Всякое живое существо, говорил рабби, обязано своей жизнью отцу, матери и Богу. Но Богу в первую очередь. Впрочем, даже если бы он не был столь суров, ученики отказались бы оставить его. Не покидают место, где каждое мгновение переживается, как небывалый опыт. Не покидают человека, позволяющего приобщиться к неповторимому, к личностному освобождению вселенной.

Из битвы поколений рабби вышел победителем. Очарованная молодежь желала лишь одного — связать свою судьбу с ним. Слезы и ярость родителей были напрасны: сыновья оставались в Томашове, с рабби, который по-братски делился с ними своими идеями, мечтой о возрождении. Они все делали сообща — танцевали, пели, учились, обменивались радостями и открытиями, печалью и на-

деждами; они жили вместе наподобие того, как живут в кибуце, с его общими доходами и общим столом. Равенство распространялось даже на *Бет-Мидраш* — ни у кого не было привилегий. Часто рабби бродил с ними по лесам и полям, обсуждая с учениками свои планы и замыслы. И, по примеру Баал-Шема, делился мечтами.

Мечты эти, далекие, вероятно, от действительности, будоражили и опьяняли. Суть их сводилась к следующему: если бы рабби удалось создать духовную элиту, он смог бы изменить мир.

Именно в Томашове эти теории начали обретать форму. Пусть придут десять отважных мужчин, нравственно сильных и чистых, свободных от всякой лжи — и они смогут одолеть рок. «Будь у меня несколько сподвижников, готовых забраться со мной на крышу мира — людей с капустными листьями на головах и перепоясанных соломой — готовых взобраться, чтобы прокричать: «Бог есть Бог», победа стала бы явной!»

Поразительный экстатический образ, раскрывающий его своеобразную концепцию связей как с вечностью, так и со своими союзниками! От последних он требовал абсолютной преданности. *Эмуна* в устах Мендла означала не веру, но верность. Его приверженец должен был забыть все земные заботы и привязанности. Нельзя одновременно домогаться чувственных удовольствий и готовить себе место в раю. Нельзя одновременно тянуться и к сущности и к явленности. Совершенство не терпит ни раздробленности, ни соперничества.

Томашов занял место Пшисхи, Межирича и Меджибожа. Кто приезжал в Томашов, здесь оставался. Здесь, в экстремальной ситуации, хасид ощущал свою избранность. «Знайте, — писал Ицхак-Меир Ханоху из Александрува, — так же, как некогда над Синаем разверзлись небеса, сверкнула молния и грянул гром, так теперь молния сверкает над Томашовом». А рабби Мендл без ложной скромности заявил ближайшим ученикам: «Я откроюсь вам. Был Великий Маггид из Межирича, был Шмелке из Никольсбурга, был Элимелех из Лизенска, был Ясновидец, был святой Еврей из Пшисхи и был рабби Бунем. Я седьмой, я итог, я сущность; я — Суббота».

Однако томашовская прелюдия привела к неожиданному финалу. У местного раввина имелись свои соображения насчет бурной деятельности хасидов: они вышли из-под его контроля. Вскоре отношения в общине безнадежно испортились. Тогда рабби Мендл переехал в Коцк, городишко, в котором жило 1652 еврея и 1270 христиан. В мгновение ока город прославился.

Почему именно Коцк? Потому, что тамошний раввин был горячим поклонником Мендла, что значительно упростило дело. Впрочем, легенда находит более колоритное объяснение: рабби со своей паствой странствовал по деревням и местечкам, нигде не находя приюта. В Коцке их встретили градом камней. Рабби заметил: «Доброе знамение! По крайней мере, народ здесь не безучастен».

В течение последующих десяти лет рабби работал над собой и над учениками как метафизическим материалом, вырабатывая свое представление о человеке, ввергнутом в мир — между Богом и смертью.

Он говорил: «Бог посылает души на землю, а потом призывает их обратно, заставляя карабкаться вверх по лестнице. Вот о чем заботятся люди — о лестнице. Иные не хотят искать ее; взлетают в небо — и падают. Не беда, они будут пробовать снова и снова».

Падения не обескураживают. Казалось, его притягивает, завораживает бездна. Мысль о том, что он может найти ответ, что ему забрезжит истина в конце пути, лишь увеличивала его страдания.

Своему другу Ицхаку-Меиру он сказал: «Проклявши змея, Господь обрек его ползать на брюхе, пресмыкаться во прахе и этим же прахом питаться. Какое странное проклятие! Змей никогда не будет голоден, разве это проклятие? Да, проклятие — и ужасное к тому же».

Потребности, которые можно удовлетворить, жажда, которую можно утолить, не представляли для него интереса. Бог, чьи замыслы он мог понять, его не устраивал. Рабби Якову из Радзимины, сказавшему ему, что назначение человека — самосовершенствование, он презрительно ответил: «Нет, нет, ради этого не стоит трудиться. Назначение человека — поднять небо». Поднять так, чтобы оно стало недосыгаемым. Лучше смотреть в небо, затянутое облаками, нежели видеть его в грязи у своих ног.

Сказать легче, чем сделать. Рабби из Коцка заявлял: «Легче избавить Израиль от изгнания, чем изгнание от Израиля». Проблема заключается в том, что люди равным образом желают жить и в этом и в грядущем мире.

«Раз Бог есть Бог, то пусть Он сойдет со Своего престола. Пусть Он зайдет в лачуги, где сердца исстрадались. Детей нужно накормить и одеть, о жене — позаботиться, заимодавца — умиловать: голова раскалывается у человека. Пусть Он это увидит».

Столкнувшись с почитателями, видевшими в нем обычного раввина, призванного облегчить им бремя каждодневных забот, рабби вскричал: «Что им от меня нужно? Почему они изводят меня? Как заставить их понять, что не мое это дело — набивать им желудки и охранять их сон?»

Один человек слезно ему пожаловался: «Я бедный, нищий вдовец. Дома у меня семеро голодных ребятишек». Рабби покачал головой: «Что же, по-твоему, я могу сделать? Утешить тебя? Нет, для меня это чересчур много. Обратись к Богу: пусть Он утешит тебя».

«Помолись за меня, — упрасивал его один хасид. — Дела идут хуже некуда, мне нужна помощь. Обратись к небесам от моего имени». Рабби резко оборвал его: «Ты что, тяжело болен, коли не можешь сам помолиться?» — «Да я не знаю как!» — «Что? Не знаешь? Вот в этом-то твоя истинная беда!» И он распроштался с ним.

Как-то ночью он разбудил своего друга, Герша из Томашова. Он стоял перед ним со свечой в руке: «Посмотри, здесь, в сердце моем, такая боль, такая страшная боль, а они только и бегают за мной со своими глупостями и вздором».

Чувство близости и товарищества между Учителем и учениками, существовавшее прежде в Томашове, теперь исчезло. Разочарованный и ожесточенный, рабби все явственней отчуждается от последователей. Выдающийся рабби тяготеет своими учениками, обыкновенными хасидами. Они его раздражают, и он не скрывает этого. Он нетерпелив, нетерпим и все более безжалостен.

Люди, одержимые плотскими заботами, досаждают ему, он считает, что они делают это нарочно. Их боязливое ра-

болепие озлобляет его. Все ему кажется мелким, ничтожным: «Тот, кто верит в чудеса — идиот, кто не верит — безбожник», — говорит он.

Правильное поведение немислимо. Он утверждает что-либо и тут же отрекается от своих слов. Ему мало наслаждаться парадоксами, он заводит парадоксы в тупик. Мендл требует эрудиции, но без колебаний осмеивает ее. Он подчеркивает важность подготовки к службе, но выполняет ритуал богослужения спустя рукава. Проявления радости отталкивают его, но он не одобряет и тех, кто надеется подкупить Бога слезами. Он стремится вырвать человека из слишком уж человеческого существования, однако при этом заявляет, что сама святость должна быть человеческой. Нарекания вызывает у него и тот, кто фамильярно обращается к Богу, и тот, кто разговаривает с Богом, как с чужим.

Чем более странно он себя ведет, тем внушительнее растет его престиж. Это ему не нравится. В других хасидских общинах бранят Мендла из Коцка — это доставляет ему радость: хвала, возносимая учениками, мешает гораздо больше. Он задыхается, ему хотелось бы освободиться, разбить оковы, но на его пути стоит хасидизм. Он убежден: хасиды тянут его назад. Он отдал бы все, лишь бы они не мешали ему. Пусть уйдут, пусть восстанут против него. Но число его приверженцев все растет...

Этот страстный, кипящий противоречиями человек, конечно же, связан с невидимыми силами. Хасиды боготворят его. К счастью, он бдителен и дает волю своей ярости: «Давным-давно, в юности, когда я еще мог видеть себя изнутри, эти люди не осмеливались ко мне приближаться!» Но чем больше он кричит, тем гуще становится толпа у его порога. Люди покорены ужасом, который он им внушает.

Отныне в Коцке воцаряется благоговейный страх, а вместе с ним — нищета. (Письмо рабби его другу Ицхаку-Меиру: «Если ты не получал известий от нас, то потому, что нам не хватало денег на марки».)

В Коцке не говорят: там или вопят, или хранят молчание. Там проводят время в борьбе с желаниями, стремясь обмануть их. Там все делается вопреки потребностям. Едят, когда сыты, обходятся без воды, когда мучает жажда, молятся либо раньше, либо позже обычного. Рабби говорит:

«Когда человек хочет кричать и молчит, это и есть настоящий крик». Он вопрошает своего сына рабби Давида, оправляющегося от болезни: «Ты думал, что умираешь?» — «Да, именно так я думал». — «И что же ты ощущал?» — «Желание прочесть *Шма Израэль*, дабы возвестить мою веру в Бога». — «И ты сделал это?» Нет, сын сдержал свои чувства. «Очень хорошо, — восклицает рабби из Коцка, — ты настоящий хасид!»

В Коцке стоит такое тяжелое, такое плотное безмолвие, что оно раздирает ночь. Там ночью не спят, там бредят. Не ходят — бегают. Несутся по туго натянутой проволоке, оба конца которой держит рабби. Все взоры устремлены на него, к нему устремлены все помыслы, он оказывает гипнотическое воздействие на окружающих. Бродят за ним по пятам, но он ускользает. Порой он будит кого-нибудь из своих приверженцев: «Убирайся, я здесь хозяин» — и тот раздражается рыданиями. Ему достаточно взглянуть кому-нибудь в глаза, чтобы тот упал без памяти. «Почему, обращаясь к Богу, ты называешь Его отцом? — распекает он юношу. — Кто сказал тебе, что Он — твой отец? Он сам? Если хочешь, чтобы Он был тебе отцом, заставь Его им стать». В другой раз он ошеломил ученика, спросив: «Знаешь, где пребывает Бог?» И увидев, что тот от изумления потерял дар речи, сказал: «Бог там, куда Его впускают».

Своими вопросами, непредсказуемыми вспышками гнева он терроризирует людей: стоит ему появиться, как они чувствуют себя виноватыми. Виновными в слабости, в трусости. «Лица, лица, у всех у вас есть лица! — как-то ночью восклицает он. — Но есть ли среди вас хоть один, чье лицо можно сравнить с Ликом Господним?» От человека зависит, уподобится ли он образу Божьему, достигнет ли такого же совершенства. Рабби из Коцка говорит: «Я предпочитаю безбожника еврею, который лишь наполовину еврей». Он же произнес суровые, горестные слова: «Если я существую и существуешь Ты, потому что я — это я, а ты — это Ты, тогда я есть я, а Ты есть Ты. Но если я существую потому, что есть Ты, то я не есть я, а Ты не есть Ты».

Его слова повторяют все, наделяя их особым смыслом. Люди разрываются между желанием их понять и страхом преступить запрет. В конце концов даже его друзья оказы-

ваются в затруднительном положении. Внезапно, безо всякого объяснения, он начинает расхваливать того, кого во всеуслышание оскорблял изо дня в день. Жена рабби больна, и он неделями не отходит от ее постели. Его сын собирается жениться, и еле-еле удается заставить отца присутствовать на свадьбе.

Другое противоречие: он, глубоко презиравший мирские дела, заинтересовывается политикой. Он оказывает поддержку польской национальной революции, поднятой против русских оккупантов, подписывает послания и заявления, ставит свое имя под призывом собирать деньги в помощь революционерам. Поляки терпят поражение, и рабби, опасаясь ареста, меняет фамилию: из Гальперина становится Моргенштерном.

Перемена эта никак не влияет на его судьбу. Он остается тем же бунтарем, лишь еще глубже погружившимся в царство теней, населяющих его воображение. Некоторые ученые, среди них Мордехай-Иосеф из Ижбиц, начинают роптать: «Он заходит слишком далеко, чтобы указать дорогу. Нам нужен вожак, а не серафим». Рабби чувствует — сопротивление нарастает, но не унижается до того, чтобы выказывать обиду. Вот тогда-то и происходит то загадочное событие, о котором говорилось в начале главы. Раскол становится явью. «Скрижали Завета разбиты», — объявляет глава мятежников Мордехай-Иосеф. И он уходит, забрав с собой многих учеников, так же как ранее поступил его Учитель. Уязвленный, рабби не скрывает негодования. Он, желавший создать элиту, терял теперь лучших людей, да еще по ничтожному поводу, — лишь потому, что не заботился об их хлебе насущном. Тем горше его разочарование.

С ним остаются несколько преданных и влиятельных сторонников: Ицхак-Меир, Иехель-Меир из Гостина, Сохачевский Гаон, Ицхак из Ворке. Но рабби безутешен. Видимо, тех, кто покинул его, он продолжал любить, невзирая на содеянное. Они были похожи на него, у них достало смелости бросить вызов самому Учителю.

Некоторые раскольники вскоре вернулись. Он гонит их прочь: «Зачем вы вернулись? Увидеть меня? Что я вам, трубочист, на которого пялят глаза?»

Нелюдимый, сварливый рабби, с глазами, покрасневшими от бессонницы, с нечесаной бородой, рабби, роняющий отрывистые фразы... Он ищет лишь тишины и одиночества. «Я никого не желаю видеть, — говорит он своему верному другу, Гершу из Томашова. — Скажи им, чтобы оставили меня в покое, а если понадобится — гони палкой». В другой раз он заявил: «Я брошусь на них, как раненая медведица, разлученная с детенышами».

Записи того времени донесли до нас вопль страдания, ошеломляющую историю, притчу.

Притча. Путник, заблудившийся в лесу, видит объятый пламенем замок. Замок пуст, думает путник. Вдруг он слышит крик: «Помогите, помогите мне, я хозяин замка». И рабби повторяет: «Пылает замок, горит лес, и хозяин замка взывает о помощи. Что же это означает? А то, что замок обитаем, и там есть хозяин». И рабби затрепетал, и за ним затрепетали и все присутствующие.

Жертвоприношение. Ицхак из Ворке, один из немногих учеников, которых Коцкий рабби продолжал принимать во время своего добровольного заточения, однажды обратился к нему с традиционным приветствием: «Мир тебе, рабби». — «Не смей так говорить! Слышишь? Не называй меня рабби, ибо я не рабби. Хочешь знать, кто я? Козел, да-да, козел. Ты не веришь? Так слушай историю о священном козле, историю о жертвоприношении.

Давным-давно один еврей потерял табакерку. Он искал ее повсюду, ибо эта табакерка была ему очень дорога, а на новую у него не хватало денег. Не найдя ее, он заплакал. Он бродил, искал и непрестанно плакал, пока не очутился в дремучем лесу. Здесь он набрел на самое странное, но в то же время самое благородное создание: на козла. То был священный козел, который скитался до дорогам времен в ожидании полуночи. И каждую полночь он касался небес своими огромными рогами, пробуждая полночь, пробуждая звезды и вдохновляя их на песню во славу того, что вечно. «Почему ты горюешь?» — спросил козел. И еврей поведал ему правду. «Только и всего? — удивился козел. — Не стоит плакать. Я помогу тебе, нет ничего проще. Есть у тебя нож? Вытащи его, отрежь кусочек рога и сделай себе табакерку».

Еврей не заставил просить себя дважды. Когда он вернулся в местечко, люди удивились: от его табака исходил райский аромат. Его изводили вопросами до тех пор, пока он не признался — все дело не в табаке, а в табакерке. В конце концов ему пришлось рассказать и о козле. Не успел он рассказать, как все местечко похватило ножи и бросилось в лес, где и вправду бродил самый дружелюбный и священнойший козел в мире. И люди принялись кромсать его рога, которые с каждым мгновением укорачивались, пока совсем не исчезли. Так вот и получилось, что в эту ночь не смог козел коснуться рогами небес, дабы пробудить звезды и заставить их петь; он мог лишь издали смотреть на них, томясь от желания и порой упрекая себя... Вот почему я запрещаю тебе называть меня рабби, понял?»

Посещение. Однажды ночью рабби разбудил сторожа Файвела: «Он был здесь, ты слышал его?» Файвел, застигнутый врасплох, побоялся рассердить учителя и, заикаясь, вымолвил: «Да, я слышал его». Он понятия не имел, о ком говорил рабби, но не мог сдержать дрожь страха. А рабби в задумчивости произнес: «Он пришел, сказал то, что должен был сказать, и снова удалился. Я еще слышу его шаги, а голос, голос — нет...»

«Многое из того, что он говорил, я понял только сорок лет спустя», — сказал Сохачевский Гаон Авраам. Сорока лет достаточно? Трижды по сорок!

Мендл из Коцка, человек, чуждый своему поколению, скорее принадлежит поколению нашему. Он мог бы быть нашим современником. Его гнев — это наш гнев, наши мятежи — отголоски его мятежа.

Но образ его, увы, остается непонятным и загадочным. Коцк нельзя объяснить. Если повезет, о нем можно рассказать. Ибо Коцк — опыт, передающийся от человека к человеку: уста сомкнуты, взоры устремлены друг на друга. Вопрос, не нашедший разрешения ни во времени, ни в жизни. Коцк — не философская и не социальная доктрина, Коцк — это узкая и безлюдная тропа, начало которой упирается в конец. Коцк — это избавление от отчаяния через отчаяние. Коцк — это тюрьма, ставшая святилищем.

Вернемся к тому, с чего мы начали, — к той роковой и горестной субботе, когда рабби, потеряв терпение, восстал против унизости истории.

Почему он отшатнулся от человека? Что и кому хотел он сказать своим одиночеством и молчанием? От какого врага скрывался? И кого преследовал?

Во многих текстах говорится, что на определенном этапе отшельничество было ему навязано. Его изолировали? Возможно. Нужно было защитить и рабби, и хасидов, ибо он внушал ужас и сеял панику одним своим видом — обликом угрюмого подавленного рабби. Лучше уж ограничить их контакты.

Однако ученые, по-видимому, сходятся в том, что поначалу рабби сам избрал уединение. Он избегал людных сборищ, боясь среди них обезличиться. «Если приоткрыть тайну, она умалется». Чтобы принять Закон, Моисею пришлось в одиночку взобраться на гору.

Богохульствовал ли Мендл из Коцка? Вряд ли это имеет значение. Ведь такие известные религиозные авторитеты, как рабби из Гера, Сохачевский Гаон, рабби из Ворке до конца сохранили ему преданность. Они несомненно верили, что, говоря с Богом по-своему, не так, как они, он тем не менее отстаивал их общую веру. Возможно, его разрыв с обществом объяснялся разочарованием иного свойства. Осознал ли он перемену, происшедшую в нем самом? Раньше он боялся, что никогда не найдет истину, теперь страшился, что уже нашел ее.

Итак, выхода не было. Человека всюду подстерегает страх. Что связывает человека с Богом и людей друг с другом? Страх. Людской страх Богу нужнее, чем любовь. И Мендл из Коцка протестует. «Если это и есть жизнь, то она мне не нужна; я пройду по ней посторонним. Если человек таков, стоит ли спасать его?»

Другое предположение. Предвидел ли он, что спустя сто лет после его кончины совсем иное пламя охватит континент и первыми жертвами окажутся евреи — покинутые Богом и человечеством? Не помышлял ли он с этой минуты сражаться с огнем посредством огня же — готовя нас к битве, добываясь от нас силы и стойкости, способности противиться злу (вне зависимости от того, в какую форму

оно облакается, пусть даже в форму приемлемой, благоустроенной участи), способности противиться даже Богу в надежде на Бога?

Так или иначе, благодаря Менахему-Мендлу из Коцка мы знаем, что человек может опьяняться Богом, может принести Ему в дар свою душу и разум. Что человек может впадать в безумие в Боге и для Бога.

Вот последние его слова: «Наконец-то я встречу с ним лицом к лицу».

Нам неведомо — и никогда не откроется эта тайна: что звучало в этих словах — древняя ярость или обновленный вызов. В конечном итоге, Мендл из Коцка был обречен беседовать с одним-единственным Существом. И история Коцка есть запись этого диалога — повесть, пылающая, как замок, как лесная чащоба. Но благодаря Коцку мы слышим голос и сознаем, что замок не пустует, что человеческая история обитаема; что в ней присутствует кто-то, взывающий к нам.

* * *

Завершив свое первое паломничество к истокам хасидского опыта, повествователь ощущает необходимость дать некоторые краткие разъяснения, представляющие собой лишь оправдание внутреннего смысла и цели его работы. Разумеется, в его цели не входило создание научного аналитического трактата. Точно так же не претендует он на лавры историка или философа. Единственная роль, устраивающая его, — это менее претенциозная и более скромная роль рассказчика; с предельной достоверностью передавая то, что ему удалось узнать, он услышанное излагает своими словами и со своей личностной интонацией, а иной раз вкладывает в рассказ свой пыл и свое удивление.

Итак, перед вами книга, которая могла быть составлена или скомпонована иначе: вместо одного Учителя нетрудно было бы рассказать о другом, ко всем приведенным легендам добавить еще несколько. Ибо по ходу лекций, прочитанных в разных городах Франции и США, рассказчик отбирал персонажей, следуя скорее воображению, нежели разумной схеме. Он мог бы сосредоточиться на теорети-

ческом, социологическом или теологическом аспектах хасидизма. Вместо этого повествователя соблазнила возможность возродить некоторых героев, населявших мир его детства. Они по-прежнему пленяют и тревожат его воображение — пожалуй, даже сильнее, чем в прошлом. Ибо хасидизм, проповедовавший братство и примирение, стал алтарем, на котором был принесен в жертву целый народ. Иной раз я думаю, что мир не стоит этого Закона, этой любви, этого духа и этой песни — спутников человека на его скорбном пути. Мир не заслужил легенд, рассказанных ему хасидизмом, и налетевший ветер развеял их.

Хасиды, чью веру мой дед разделял и в течение всей жизни, и в смертный свой час, были неотъемлемой частью моего духовного бытия. Мне близки их простота, бесхитростность и любовь к прекрасному. Они умели молиться и веровать. Они владели искусством давать и искусством брать. В их общинах ни один нищий не оставался голодным в субботу. Несмотря на бедность и невзгоды, они ничего не просили у других, и их бесконечно удивляло и трогало малейшее проявление сердечности и великодушия. Потому-то они не могли выжить в обществе, где царила холодная, бездушная и абсурдная жестокость.

Почему интерес к ним теперь пробуждается? Не оттого ли, что сознание человека отягощено чувством вины, не оттого ли, что смерть их обременяет людскую совесть? Быть может. Но есть и иная сторона дела. Их завет взволновал нас до глубины души, и утрата его связана с нашей неспособностью верить и бороться за веру. «Бог — это молитва», — сказал рабби Пинхас из Кореца. И никогда современный человек не был так близок к молитве.

Следует также отметить, что все условия, сопутствовавшие в 18 веке возникновению хасидизма, наличествуют и сегодня: неустойчивость — внешняя и внутренняя, поверженные кумиры, разгул жестокости... Куда идти, где спрятаться? «Ад существует, и он на этом свете, — сказал рабби Нахман, — но никто не осмеливается в этом признаться». Неверно. Сегодня осмеливаются все. Никогда раньше не претерпевало человечество таких страданий, не переживало таких мерзостей. Нынешний человек шагает по Луне, но душа его прикована к земле. Когда-то было наоборот.

Отчаявшись в настоящем, мы, как хасид когда-то, ищем прекрасное в легендах.

В хасидском мире нищие — это принцы, а немые — мудрецы. Чудотворные странники меняют лицо Земли. Такова природа хасидизма. Главное в нем — присутствие и преображение. В хасидизме все возможно, все становится возможным, если только присутствует тот, кто умеет слушать, любить других и отдавать себя. В чем суть хасидских легенд? В попытке очеловечить судьбу.

Итак, история, которую я пытался здесь поведать, рассказывалась уже не раз и не одним человеком. Она неизменна, и, повторяя, я лишь передаю ее новым слушателям. Неужное повторение? Нет. В иудаизме повторение может играть созидательную роль. Об Элизере Бен-Гиркане говорили, что он ни разу не произнес слова, не услышанного им ранее от своего Учителя. Странная похвала. Неужто и вправду рабби Элиэзер не создал ничего самобытного? Напротив, он сделал многое. Повторением речений, связывавших его с Моисеем, а через него с Богом, он оказывал воздействие и на еврейскую мысль и на саму судьбу еврейства. Передавать важнее, чем вводить новшества. Моисей знал все вопросы, которые до скончания веков будут задавать ученики Учителям. И все же мы обязаны вопрошать, и тогда повторение станет приобретением. На иврите слово *масорет* (традиция) происходит от глагола *лимсор* — передавать. На протяжении нашей национальной истории эта потребность передать, поделиться выглядит почти навязчивой.

Разумеется, не всякий опыт поддается словесному закреплению. Есть и такой, который должен передаваться от человека к человеку бормотаньем, взглядом или же... — смехом. Рабби Ханох из Александрува знал, что когда его учитель рабби Мендл из Коцка рассказывал забавные истории, он в действительности оплакивал разрушение иерусалимского Храма. И когда на исходе субботы я слушал, как старики говорят о своих рабби, я закрывал глаза, чтобы увидеть то, что видели они.

Баал-Шем, Маггид, Леви-Ицхак, Исраэль из Рижина... Теперь мой черед показать их — такими, какими видел их тогда, такими, какими вижу теперь. Эти портреты субъективны несвободны от повторов, ошибок, упущений. Ве-

роятно, они дают представление скорее о самом рассказчике, чем о героях. Быть может, истории о Нахмане из Брацлава или Мендле из Коцка он привел лишь затем, чтобы показать, как они влияли на его собственное отношение к языку, к человеку, правде и одиночеству; о Леви-Ицхаке из Бердичева — для того, чтобы заявить о своем праве на наследие, а о Зусе из Аниполи — чтобы признать, чем он обязан ему, чем обязан всем тем рабби минувшей эпохи, которые остались его Учителями. Только по чистой случайности не были упомянуты некоторые другие выдающиеся личности: Шнеур-Залман, Хаим из Цанз, Ицхак из Гера, Меир из Перемышлян, Нафтали-Герш из Ропчиц, Мендл из Косова, Моше из Уйхея. Каждый из них — основатель школы, каждый — источник духовного обогащения. Рассказчик надеется поведать о них позже, ибо это только начало его паломничества. Кажущаяся произвольность порядка изложения предопределена детскими впечатлениями. В его городе, например, говорили о Рижине больше, чем о Гере, чувствовали себя стоящими ближе к Баал-Шему, чем к его комментаторам. Поэтому те или иные предпочтения обусловлены субъективными критериями. Повествователь отбирает наиболее близкий ему материал, а остальное откладывает на другой раз. Если он останавливается на какой-то легенде, то не потому, что она правдивее прочих, — просто он слышал это, а не иное предание. Если какая-то легенда приписывается одновременно двум, трем или пяти Учителям, то это дает ему право преподнести ее в дар тому из них, кого он больше любит. Подобным образом поступали и продолжают поступать все хасиды со времен Баал-Шема. А собственно, почему бы и нет? Тем более что повествуя о других, рассказчик говорит о себе. Он не стремится научить или убедить, он хочет заполнить пробелы и установить новые связи. Не претендуя на объяснения сущего, он силится лишь вырвать у смерти молитвы и лица, вызывая к воображению и ностальгии — тем силам, которые заставляют человека вслушиваться, когда ему рассказывают его собственную историю.

ПОЯСНЕНИЯ К ИМЕНАМ И ТЕРМИНАМ

Агада — притчи, толкования, легенды, пословицы и басни, как правило, берущие начало в библейских текстах, толкующие их сложные места и предлагающие варианты понимания Талмуда и Мидраша. В то время как Галаха жестко предписывает соблюдать определенный образ жизни, Агада менее бескомпромиссна и менее требовательна и даже, в зависимости от контекста, может быть шуточной или поэтической. Агада побуждает к размышлениям и в основу веры вносит нравственный смысл.

Баал-Шем (буквально: Властелин Имени) — так со времен средневековья называют людей, которым известны истинные имена существ и вещей и которые, владея этой тайной, могут управлять и пользоваться ими. Тот, кто знает имя силы, — тот и ее хозяин. Его знание — это его власть. Если он использует свою власть в корыстных целях, то так и останется простым магом. Но если он, напротив, пытается приблизить эти имена к Имени Создателя и в Боге объединить существа и вещи, он становится Властелином Доброго Имени, Баал-Шем-Товом.

Бет-Мидраш (буквально: Дом Учения) — для того чтобы не прерывать изучения и обсуждения Писания, евреи предпочитают не покидать Бет-Мидраш ради молитвы в Бет-Кнесете (Доме Молитвы). Часто эти два «дома» объединялись или хотя бы примыкали друг к другу, так что служба перетекала в учебу, а кульминацией учебы становилась молитва. «В час молитвы и учения» — это выражение часто повторяется в хасидских текстах.

Галаха (буквально: дорога, путь, правило) — то, что в Талмуде и раввинской литературе соотносится с ритуальной, социальной и экономической жизнью общества и каждой отдельной личности. Также как тексты Агады, с которыми Галаха перекликается, она в основном черпает свою мудрость из Библии. Тексты Галахи составляют суть всеобъемлющих законодательств, регулирующих все аспекты жизни благочестивого еврея.

Гаон из Вильны, или Раби Илия бен Шломо-Залман (1720—1797) — самый почитаемый раввин среди евреев Восточной Европы, человек высокой морали и энциклопедических знаний. Всеми признанный знаток Галахи, он также обладал глубокими познаниями в Каббале. Он яростно противостоял хасидскому движению и активно боролся с его распространением в Литве.

Гилель и Шамай — соответственно глава и его заместитель Сангедрина в первом веке до н.э. Это самая известная «пара» раввинов. Их мнения провоцировали и дополняли друг друга. «Школа Шамаи» была более жесткой и строгой в отличие от «Дома Гилеля», который, памятуя об уроках прошлого, склонялся к более мягкому подходу.

Даян — раввинский судья.

Дин — приговор; *мидат адин*: Божья кара.

Зохар — «Книга Сияния», основа учения каббалистов, эзотерический комментарий к Пятикнижию, традиционно приписываемый Раву Шимону Бар-Йохаю.

Йоханан Бен-Закай — законоучитель I века, одна из ключевых фигур в детальной разработке Талмуда. Для того чтобы не прерывать свою работу, он бежал из Иерусалима, захваченного Веспасианом, и основал Академию в Явне, которая продолжала дело Сангедрина и тем самым сберегла традицию. После разрушения Храма Раби Йоханан Бен-Закай собрал воедино все, что ему было известно о законах жертвоприношения, вплоть до мельчайших деталей, в ожидании появления Мессии. В то же время он считал особенно важным — пока не восстановлен Храм, да и всегда — изучение священных текстов и поддержка практики службы в синагоге.

Кавана (буквально: направление, замысел, цель) — духовное сосредоточение на молитве или религиозный акт подготовки к *девекуту* — согласию с Божественной Волей. Талмуд подчеркивает необходимость направлять свои мысли к Богу не только во время молитвы, но и в следовании Заповедям. «Мистики» средневековья, а позже и хасиды, настаивали на этой форме религиозности и сочиняли *Каванот* — «направленные молитвы», — которые помогают настроиться и перейти к основной службе.

Ламед-Вавник — «на земле, говорит Талмуд, должно быть не менее тридцати шести Праведных мужей, которым было бы дозволено созерцать Божественное Присутствие». Именно на них и держится мир. Ламед-Вавник (числовое значение этих букв еврейского алфавита — тридцать шесть) прочно заняли место в представлениях народа, который создал им образ скромных людей,

ведущих отшельническую жизнь и проявляющих свои достоинства и свою силу только в случаях крайней необходимости — когда дело касается жизни и смерти общины, людей или всего мира.

Лурия, Исаак, также известен как «Ари», «Святой Лев Цфата» (1534—1572) — он родился в Иерусалиме, жил в Каире и умер в Цфате; один из самых загадочных, разносторонних и известных Знатоков Каббалы. Его всегда устные проповеди были распространены благодаря записям ученика Хаима Витала. Очень сильно повлияли на хасидизм его мысли о *Цимцуме* (замысел Бога уйти к Себе, обречь людей на незнание и оставить их на произвол собственных ошибок); о *Шверат Акелим*, «разбившихся сосудах» Первого Света, искры которого проникли даже в темные миры; о *Тукун* (строительство мостов над пропастями, собирание искр воедино, «восстановление» как историческая цель); о *Мессии*, законном в цепи, ожидающим искупления каждого нашего деяния.

Мезуза (буквально: дверной косяк) — маленький пенал, обычно металлический или деревянный, где содержится туго свернутый пергамент, на одной стороне которого написаны отрывки из книги *Дварим* Пятикнижия, а на другой — *Шадай* (одно из Божественных имен). Мезуза традиционно прикрепляется при входе, к правому косяку еврейского дома. Великий средневековый философ-законодатель, Моше бен Маймон (Рамбам) объяснял значение мезузы следующим образом: «При виде мезузы человек, который входит или выходит из дома, вспоминает о Вездесущем и преисполняется любви к Нему. Он пробуждается от дремоты и от суетных мирских мыслей, чтобы понять, что ничего нет важнее стоящего в основе мира Краеугольного камня. Эти размышления возвращают человека к себе и направляют его на путь истинный».

Мидраш — происходит от еврейского глагола толковать, интерпретировать, делать выводы; в частности, означает толковать наставления и этическую мудрость Писания; фактически представляет собой большую часть талмудической литературы, которая развивалась в эпоху танаев и амораев.

Митнагдим (буквально: противники) — они противостояли «новой хасидской секте», осуждая ее как революционную, опасную, еретическую.

Тания — основополагающая книга движения ХаБаД или Любавического хасидизма. Написанная основателем ХаБаДа, Раби Шнеур-Залманом из Ляд (1747—1813), Тания состоит из двух частей: первая указывает путь «тем, кто не является образцовым Праведным мужем, но и не слывет отъявленным злодеем», иными

словами, тем, кто учением, молитвой и добрыми делами могут приобрести любовь Бога; вторая часть Тании — «Книга Единства и Веры» — представляет собой комментарий к «Шма».

Франк, Яков (1726—1791) — последний из «великих» претендентов на роль Мессии. Последователь Шабтая Цви, он пытался «воспитать» в евреях христианское чувство, в конечном счете самолично крестившись с большой помпезностью в Варшавском соборе. Его крестным отцом был император Август III. Позже Яков тринадцать лет провел в тюрьме за ересь уже как христианин. Со сланный с известной своей красотой дочерью Евой, он проповедовал и практиковал «воспитание» сексуальности во всех ее необузданных проявлениях.

Хасид (буквально: страстный, набожный) — тот, кем руководит любовь, чьи поступки не ранят. Слово происходит от слова «хесед» (милость), один из Божественных атрибутов, дополняющих *дин* (строгая справедливость). Милость пробуждает в человеке пыл, набожность, любовь к Господу и всем Его созданиям. В Псалмах хасид часто обозначает «верный», «истинно верующий», «исполненный веры», «любящий Бога». В Талмуде (*Пиркей Авот, V, 13—16*) хасид — это «тот, кто говорит: что мое, то твое, а что твое, то мое; тот, кого трудно разозлить и легко остудить; тот, кто любит отдавать и видеть других отдающими»; а также «тот, кто даже до молитвы обращает свое сердце к Богу, хотя бы на один час» (*Бер. 30b*). Кроме того «праведники-неевреи также удостоятся места в Грядущем Мире» (*Тос. Санг. 13; Мишне Тора, Млахим 11*).

Цадик — праведник, образец морали, социальной и религиозной жизни, он тот человек, «который живет силой веры» и кому благоволит Господь. В хасидском движении цадик быстро стал именем нарицательным, но хотя он и обладал «образцовой силой духа», все-таки, будучи подвержен искушению, оказался не в силах сопротивляться и дошел даже до того, что провозгласил себя посредником между своими учениками и Богом, учинял настоящие суды и основывал династии.

Шабтай-Цви (1626—1676) — самый внушительный из лжемессий. Рожденный в Смирне, хорошо знающий Талмуд и сведущий в практической Каббале, он скитался между Салониками и Иерусалимом, завлекая толпы и возбуждая гнев, проповедуя доктрину, в которой чувствуется школа Лурии. В 1665 году он провозгласил себя мессией. Слух о нем распространялся как лесной пожар и возбуждал в еврейском мире неопишуемый энтузиазм и восторг; повсюду люди молились за «нашего Господина, Помазанника Божьего»; некоторые даже продавали свое имущество, ожидая гря-

душего чуда — отправления в Святую Землю. В 1666 г. он выразил желание встретиться с султаном, с тем чтобы потребовать признания своей власти над Землей Израиля. Вместо чего оказался в тюрьме. Через некоторое время султан потребовал его к себе; мы не знаем, что между ними произошло, но вскоре после этой встречи Шабтай-Цви принял ислам — с тем лишь, чтобы быть высланным в Албанию, где он окончил свои дни в неизвестности. Все же самые преданные ему ученики в его переходе в другую веру увидели лишь новое проявление его божественной сути; его культ просуществовал вплоть до двадцатого века на Востоке и по меньшей мере сто лет на Западе, в течение которых провоцировал ссоры и подозрения, ересь, а также был причиной отлучений.

Шимон Бар-Йохай (II век н.э.) — знаменитый законоучитель, чьи высказывания часто приводятся и толкуются в Талмуде. Он был приговорен к смерти за поношение римских властей, но сумел ее избежать. Вместе с сыном он нашел укрытие в пещере, где они провели тринадцать лет. Бесчисленными легендами окутан этот период его жизни: утверждают, что во время своего отшельничества он изучал тайны Каббалы и заложил основы Зогира. По сей день значительное число верующих приходит на его могилу в Мерон, близ Цфата, на тридцать третий день после еврейской Пасхи, в годовщину его смерти.

Шма Исраэль (буквально: Слушай, Израиль) — литургическая молитва, произносимая ежедневно на вечерней и утренней службе — «и произноси их... ложась и вставая» (Дварим 6,7); она состоит из трех объединенных вместе отрывков Пятикнижия, каждый из которых выражает пламенную веру и любовь Израиля к Богу. Место, которое эта молитва занимает в еврейском сознании, дало ей право стать истинным «символом веры».

העמותה לקליטת עליה בחיפה
רח'י. ל. פרץ 20 חיפה 33041
ספרייה
3491
מס'

Эли ВИЗЕЛЬ

РАССЫПАННЫЕ ИСКРЫ

Издательство «Мосты культуры»

ЛР № 030851 от 8.09.1998

Подписано к печати 18.01.1999.
Формат 84×108 ¹/₃₂. Бумага офсетная № 1.
Офсетная печать. Усл. печ. л. 14.
Отпечатано с оригинал-макета в Московской типографии «Наука»
121099, Москва, Шубинский пер., 6.
Заказ № 408
OCR Давид Титиевский, июнь 2020 г., Хайфа

Книга лауреата Нобелевской премии мира, профессора Бостонского университета (США), автора около 30 художественных и философских произведений о восточноевропейском еврействе. Эта книга повествует о зарождении и развитии хасидизма - мистического учения в иудаизме, возникшем в середине XVIII столетия на Украине. Через призму преданий, легенд и поучений автор раскрывает образ основателя хасидизма Баал-Шем-Това и его ближайших учеников.

ЭЛИ
ВИЗЕЛЬ



Рассыпанные
искры



22
Т
8 3 1 3 3 4 0 0
0.30
14,9